

320
Андрей Платонов

8

**В С Т О Р О Н У
З А К А Т А
С О Л Н Ц А**

рассказы

G



АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ

**В СТОРОНУ
ЗАКАТА СОЛНЦА**

РАССКАЗЫ

Советский писатель

Москва 1945

В СТОРОНУ ЗАКАТА СОЛНЦА

I

Пока спал, он примерз к земле. «Это у меня тело отдохнуло и распарилось, и шинель отогрелась, а потом ее прихватило к стылому прунту», — проснувшись, определил свое положение сапер Иван Семенович Толокно.

— Вставай, брат! — сказал себе Толокно. — Ишь, земля как держит: то каровью к ней присыхаешь, то потом — не отпускает от себя.

Он с усилием оторвался от промерзшей земли, обдутой здесь ветрами до шроплогодней умершей травы.

В той части, где служил Толокно, саперов с уважением называли верблюдами. Каждый сапер, кроме автомата с нормальным боевым запасом и пары ручных гранат, имел при себе лопату, ломик, топор, сумку с рабочим инструментом, бикфордов шнур, личные вещи и еще кое-что, смотря по назначению саперного подразделения. Все эти предметы человек имел неразлучно при себе: он шел с ними вперед, бегал, полз, работал под огнем, отбивался от врага, мешавшего его труду, спал в снегу или в яме, ел и писал письма домой, в надежде на встречу после победы, в надежде на жизнь, которая будет вечно счастливой.

Проснулся Толокно вечером, на закате солнца. Командир подразделения, капитан Омирнов, собрал в овраге своих людей, осмотрел их, проверил снаряжение и спросил каждого о самочувствии.

— Я всегда чувствую себя хорошо, товарищ капитан, — ответил Толокно командиру.

— А почему всегда? — заинтересовался капитан.

— А по необходимости! — объяснил Толокно.

Капитан указал рукой на заходящее большое солнце. Бойцы посмотрели в великое пространство, огибающее их, — потоки разноцветного света на небе походили сейчас на торжественную музыку, трогательную человека за сердце.

Затем капитан объяснил бойцам их задачу на нынешнюю ночь. Следовало теперь же, вместе с приданной каперному подразделению группой разведчиков, выйти к речному устью, изыскать место для переправы танков и сделать уютный выход в отвесном берегу реки на сторону противника; а потом, после свершения этой работы, нужно двинуться вперед на танках вместе с десантной группой пехоты и по указанию, которое будет дано впоследствии, вонзиться в землю и отработать систему траншей, укрытий и блиндажей.

— Бойцы и товарищи! — сказал командир. — Мы ведем дороги на закат солнца. Мы, красные армейцы, мы для врага то же самое, что обратный клапан в машине, который только в одну, как раз в ту, сторону открывается, а назад — ни-почем, назад он стоит намертво... Я так считаю, что хватит огненному железу войны ползать по нашей земле — ей хлеб пора рожать!

— Пора! — сказали бойцы, и душа их тронулась болью и воспоминанием.

И после заката солнца они пошли во тьму, нагруженные инструментом для работы и оружием против смерти.

2

Затемно разведчики привели саперов к речному потоку. Иван Толокно и другой сапер, Петр Расторгуев, осторожно пошли вниз по течению, чтобы разведать местность.

Толокно вышел на лед, лед был тонкий, и тропинкой близко чувствовалась живая вода.

В небо засияли две осветительные ракеты врага, и вся река и пойма ее юзарились тем неподвижным пустым светом, каким освещаются сновидения человека. Иван Толокно лег на живот и пополз своим направлением. Впереди себя он расслышал равномерное шение воды подо льдом.

Разведчики уже вышли на тот берег и тайно продвинулись вперед, чтобы наблюдать неприятеля и чтобы помочь своим саперам в нужде и опасности.

Толокно дополз до подтаявшего льда и увидел, что вода впереди выходит из-под покрова наружу и струится на воле, шумя на перекате по каменистому беспокойному ложу. Толокно сполз в воду по оступившемуся под ним льду. Он попробовал воду рукой и решил, что в ней можно обтерпеться.

Толокно и Расторгуев пошли по шумной обнаженной воде. Глубина здесь была малая. Иногда вода не доходила и до щиколотки; однако

древние камни, размером в цолого человека, со-
здавали неодолимую преграду машинам.

Толокно и Расторгуев озадачились; все здесь
было бы удобно, но камни лежали чередою по
всему пережату от берега до берега, а выше и
ниже пережата река уже имела глубину, и в брод
ее перейти невозможно.

Вступив в воду, капитан Смирнов подошел к
своим бойцам и сказал им, что здесь надо не-
медля устроить брод.

— Толом, что ль, грузные камни будем
рвать? — спросил Расторгуев.

— Еще чего! — сказал Толокно. — Огнем тут бу-
дем шуметь, когда немец невдалеке надзирает.
А потом он тут нам половодье устроит...

— Сдвинем камни вниз вручную! — сказал
командир.

— А силы хватит у нас? — усомнился Растор-
гуев. — Камень здесь в грунт врос, это неподъ-
емное дело! Его и не расшатаете, типь он ле-
денеет и мохнет, как лаковый стал...

— Ничего. возле смерти человек сильнее, —
высказался Толокно.

Две мины рванулись неподалеку и вьелись
осколками в лед.

3

Капитан через связаного передал приказ коман-
диру разведывательной группы: начать ниже
пережата затяжной маскировочный бой, а всех
саперов капитан собрал работать на пережат.
Однако немцы, не зная ничего точно, чувствовали
намерение русских и вели ощупывающий мино-

метный огонь по району переката. Саперы же не могли ответить врагу огнем, чтобы не обнаружить себя; они ютились в тенях за могучими камнями, в тяжелой воде, до боли в сердце остужающей их тела.

Иван Толокно, работавший до войны десятником на строительстве уральских заводов, понимал всякое дело. Любую работу он начинал со сноровки, с обдумывания способа, которым нужно произвести работу.

Шестеро саперов хотели было по-старинному раскатать камень, вровень дыша друг с другом и говоря что-нибудь в один лад, но камень не послушался силы людей и в ход не пошел.

Толокно присел в воду и, погрузив в нее руки, ощупал камень у основания, затем он отыскал руками и вынул наружу из ложа реки небольшие камни, чтобы разглядеть их при свете вражеских ракет. Найдя, что нужно.— продолговатый камень, похожий на клин, Толокно снял с себя все, что не должно намокнуть, положил это имущество подалее на лед и сел на дно реки. Вода теперь доставала ему по горло.

Обухом топора он начал вгонять клин под сиденье большого камня, желая оторвать его от речного прунта. Работал Толокно топором под водой наощупь, и руки в мерзлой воде ходили вязко, неменя от усталости. Но Толокно был привычен к работе и одолевал в терпении стужу, жгущую его тело, прочность и вес могучего камня. Жилы рубцами выступили на его больших руках, обветренных, обмороженных, давно покрывшихся толстой, точно заржавленной кожей, оберегающей рабочее жизненное тепло в жилах и в мышцах его рук. Изредка Иван Толокно подни-

мая руки с топором из воды на воздух, чтобы они немного отошли, а затем снова спешил расклинить камень и стронуть его с места.

Вдалеке, вниз по течению реки, наши разведчики начали стрельбу по неприятельской стороне, чтобы неприятель перестал обращать внимание на перекат. Однако немцы тоже открыли встречную стрельбу по разведчикам, но и перекат не переставали покрывать ружьим минометным огнем — на всякий случай. Сапер Нечасов был убит осколком мины в голову, унести его было некогда, и его положили на лед.

Расторгуев подклинивал тот же камень, что и Толокно, усевшись рядом с ним. Живая вода вошла в зазор, образованный клиньями, и с сошущим звуком ослабила основание камня, сросшееся с ложем реки. Тогда Толокно велел четверем саперам раскачивать камень во всю свою силу, пока он не двинется, не давая ему ложиться в покой; сам же Толокно быстро вгонял под камень все, что находил подходящего в речном потоке возле себя.

Капитан Смирнов взял пример у Ивана Толокно и поставил по четыре и по шесть человек саперов на каждый грузный камень, чтобы после подклинивания трогать их с места живой силой реки и людей.

Камень Ивана Толокно пошел первый, и его оттащили метров на шесть вниз по течению.

— Достаточно! — сказал капитан.

Немецкие осветительные ракеты погасли в небе. Капитан Смирнов пошел по перекату.

— Скорее, скорее давайте, ребята! — говорил он саперам.

Толокно сменил заочевеншего сапера. Трофима

Пожидаева, и опустился за него в воду по горло, чтобы без задержки расклинить и оторвать камень.

— Скорее! — торопил командир. — Скоро танки хода запросят.

От тьмы стало как будто еще холоднее. Из-за кручи неприятельского берега начал бить пулемет неприцельным огнем, и пули ложились по перекаату кое-где.

— Не утерпел враг погодить немного! — осерчал Толокно, сидя в воде, стругающей его тело ознобом.

— Тут война, товарищ Толокно! — сказал капитан.

— Известно, товарищ капитан! — ответил Толокно. — А тут саперы Красной Армии, а у саперов обе руки — правые: одна камень долбит, а другая стреляет...

Подработанные силни-камни трогались с вековых своих мест.

Разпромороздив перекаат от этих камней, капитан прошел поперек потока и освидетельствовал его, желая убедиться, что проход свободен.

Саперы вышли из воды под обрыв неприятельского берега. Враг занимал позиций несколько далее берега, и под обрывом было спокойно. На воздухе саперы враз обмерзли и обледенели, но вскоре они отогрелись и им стало жарко в работе. Саперы взяли в лопаты глинистый береговой отвес и начали въедаться в него пологой траншеей, чтобы танки без усилия могли выйти здесь из реки и помчаться в сторону врага.

Полушубки оттаяли на саперах, от них пошел пар. Капитан Смирнов время от времени измерял пологость траншеи, чтобы не рыть лишнего. Но и не затруднить танковых моторов, — и смотрел

на своих бойцов.

Мины и пулеметные струи стремились через головы саперов на пережат и там поражали воду и лед.

«Сколько один Иван Толокно настроил в своей жизни жилищ и всякого добра?» — думал капитан Смирнов.

И он спросил об этом у Толокна, рушившего сейчас грунт впереди себя.

— Не упомяну, товарищ капитан, — ответил Толокно. — Сорок лар рубак от пота еще в мирное время сохрели на мне. Четыре шинели и два полушубка на войне истер, седьмую одежду на себе допалываю, а кости все целыми живут и тело ничего! Дышит.

«И этот Иван Толокно, может быть, сегодня же падет на землю сраженным насмерть!» — подумал Смирнов.

Когда траншейный выход был близок к окончанию, капитан велел связному отойти вверх по реке и дать оттуда сигнал ракетой, что танкам, дескать, путь открыт и пехоте также нет трудных препятствий.

Немцы тоже стали беседовать между собой разноцветными ракетами. Иван Толокно глядел на небо, светящееся тихими цветными молниями тех ракет, сыпавшихся медленно угасающими искрами.

4

После полуночи всюду стало тихо. Отвлекающий, ложный бой разведчиков с противником прекратился. Саперы прилегли на отдых в открытой дорожной траншее и задремали до прихода танков.

В нужное время капитан разбудил бойцов и велел им приготовиться к посадке на танки.

Иван Толокно неспеша потравил на себе снаряжение и прислушался к утихшей ночи; ничего не было слышно, кроме равномерного пения речного потока по каменистому перекасту.

Потом Толокно слышал скрежет мелких камней под гусеницами танков, ворчание моторов и шипение взволнованной воды; а подхода машин к реке он не различил, столь безмолвно они подкрались и столь хорошо были отрегулированы их механизмы.

Траншею танки проходили самым тихим ходом, чтобы саперы успели разместиться на них — вдобавок к тем бойцам, которые уже находились на телах машин.

И танки резко, точно с прыжка, взяв ход, устремились на врага во мрак.

Иван Толокно попал на машину вместе с капитаном Смирновым. Он нашел теплое место на броне и отогревал там руки.

Враг обнаружил машины и стал бить издали артиллерийским огнем. Укрываясь от поражения, танки то сокращали ход, то мчались вперед, как ветер, то шли уклончивым маневром, но все время соблюдали главную, заданную линию движения.

На полной скорости, с воем напряженных моторов, танки влетели в деревню с заглухими, вымороченными избушками. Бойцы на танках приготовились вести автоматный огонь; но здесь никого не было видно и только из крайней маленькой избы, что была на выходе, полосовал пулеметный огонь. Один наш танк с ходу налетел на эту избушку и похоронил в ней врага.

Если и остались в этой деревушке немцы, то пусть остаются дышать до нашей пехоты; машинам же было некогда и невыгодно тратить свою мощь на всякого мелкого попутного врага.

Немцы били из пушек все более тесным огнем, и Толокно почувствовал, что в воздухе словно немного потеснело. Впереди, по ходу машины. Толокно разглядел неясное темное место, озаряемое мгновенным, но повторяющимся заревом рвущейся в небо шрапнели. И понял, что это горит деревня. Но из этой деревни, из-за ее обрушенной церкви, из ее могил и колодцев слышны низкими сверкал огонь сопротивления.

Танк, на котором находился Толокно, шел теперь на всей ярости своего мотора и премедел вперед пушечным огнем, и бойцы, бывшие на машине, кричали, не помня и не слыша себя, воодушевленные мощью боя.

По команде бойцы оставили танк и пошли в охват деревни.

5

Капитан Смирнов вывел своих саперов на западное поле, обойдя деревню и оставив бой позади себя; здесь саперы должны были отстроить новый узел обороны и сопротивления, пока танки, десантники и следующая за ними мотопехота будут блокировать и уничтожать врага в деревне.

Смирнов взял с собой Ивана Толокно для разметки работ.

В рассветном сумраке лежало перед ними зимнее русское поле, покрытое темными впадинами оврагов.

Капитан Смирнов хотел разбить линию тран-

шей с выходом ее в дзот по склону балки, начав траншею у бровки этой балки. Но Толокно посоветовал начать вскрытие траншеи раньше, еще на поле, где рос малый кустарник, чтобы и кустарник был у нас за спиной, на нашей земле, — он может пригодиться бойцам. Капитан согласился с этим хозяйственным расчетом.

Второй дзот Толокно задумал строить в самом устье оврага, чтобы пастбища на водоразделе меж двумя оврагами целиком остались за нами.

— Да ты что, Иван Толокно! — разгневался командир. — Мы что — мы сюда скотину пасти пришли? Мы кто — крестьяне, что ль?

— Я на всякий случай сказал, — смирился Толокно. — Мы не крестьяне, мы бойцы, но мы и то и другое...

— Ступай — зови людей! — сказал капитан.

Саперы привычно взялись за земляную работу: она им напоминала пахоту, и бойцы отходили за ней душой, и чем глубже, тем в земле было теплей и покойней.

Наутро бой все еще прерывал в деревне; капитан Смирнов немного беспокоился, что сюда не подходит наша авангардная часть, как должно быть по плану сражения. Он решил усилить свое охранение и послал вперед на посты еще пятерых бойцов, в добавление к назначенным прежде, и в их числе Ивана Толокно. «Пусть он заодно отдохнет», — решил командир.

Толокно очистил о снег лопату, взял подмышку автомат, поправил гранаты на поясе и пошел в сторону заката солнца. Командир указал ему направление и расстояние, и Толокно вскоре скрылся за ближним водоразделом.

Он шел ближе к врагу, чтобы увидеть его

первым, если враг пойдет на помощь своим соплаткам, умирающим сейчас в русской деревне. Толокно дошел до одинокого ствола обгорелой погибшей сосны и здесь остановился и осмотрелся: вокруг было чисто и свободно, как всюду в равнинной России, где мало лесов. От подножия мертвой сосны начинался спуск в большой, разработанный потоками овраг, а по ту его сторону земля снова подымалась.

Сапер хотел было закурить в тишине, но прежде взглядел вперед. Ветра не было, но в воздухе что-то напевало вдали.

Из-за оврага тихо вышел рокочущий танк с белым крестом и пошел на мертвую сосну и человека.

Иван Толокно посмотрел на машину и почувствовал свое горе, и жалость к себе в первый раз пронула его сердце. Он работал всю жизнь, он смертельно уставал. А теперь фашисты стреляют в него из пушек; теперь злодеи хотят убить труженика, чтобы сама память об Иване исчезла в вечном забвении, словно человек не жил на свете.

— Ну, нет! — сказал Иван Толокно. — Я помирать не буду, я не могу тут оставить беспорядок, без нас на свете управиться нельзя.

Из танка вырвался свет пулеметного огня. Толокно залег за стволом дерева и ответил врагу из автомата по щелям его глаз в машину.

Танк в упор надвинулся на дерево и подмял его под себя. Сосна треснула у корня и удивила сапера синим цветом на разрыве своего тела. Толокно отодвинулся в сторону от падающего дерева и очутился между ним и гусеницей танка, сжевывающей снег до черной земли.

Он увидел, что над ним стало светло: значит, танк прошел далее, пропустив под собою, меж гусеницами, лежащего человека и поверженную сосну.

Иван Толокно, не теряя времени, бросился за танком с гранатой, ухватился за надкрылок и в краткий срок был в безопасности на куполе пушечной башни врага.

Танк без стрельбы, молча, шел в сторону, откуда пришел Иван Толокно. Это было для Ивана попутно и хорошо. Он решил взять машину в плен или подорвать ее гранатами, если она откроет огонь по труженикам-саперам либо повернет обратно. «Должно быть, это ихний разведчик блуждает, — размышлял Толокно, — а может, на подмогу к своим в одиночку идет. Этот танк сделали стрелять и давить, а он чужого сапера везет, своего хозяина».

Вскоре на броню танка безмолвно и внезапно вскочили наши люди, может — они были из боевого охранения, а может — разведчики. Немцы остановили машину, потом повернули было обратно в свою сторону, и Толокно уже хотел оставить машину, чтобы подорвать ее гранатой, но немцы опять тронулись в нашу сторону, и Толокно успокоился: «Дурак, а понимает — жить хочет», — подумал он.

В своем подразделении, куда Толокно, сдав сначала танк с экипажем трофейной команде, благополучно возвратился, командир поблагодарил и поцеловал сапера, а повар сказал:

— А мы думали, что тебя уж больше не будет!

— Нет, — ответил Иван Толокно, — я буду постоянно, ты всегда пиццу держи для меня!

МАТЬ

Мать вернулась в свой дом. Она скиталась, убежав от немцев, но она нигде не могла жить, кроме родного места, и вернулась домой.

Она два раза прошла мимо немецких укреплений, потому что фронт здесь был неровный, а она шла прямой ближней дорогой. Она шла по полям, поскующая, простоволосая, со смутным, точно ослепшим, лицом. Горе ее было великим и печаль неутолимой — мать потеряла всех своих детей.

Она была теперь столь слаба, что казалось — ее влечет вперед лишь ветер, уныло бредущий по дороге ей вслед. Ей было необходимо увидеть свой дом, где она прожила жизнь, и место, где в битве и казни скончались ее дети.

Старая мать вернулась домой. Но родное место ее теперь было пустым. Маленький бедный дом на одно семейство, обмазанный глиной, выкрашенный желтой краской, с кирпичною печной трубой, давно погорел от немецкого огня и оставил после себя угли, уже поростающие травой. И все соседние жилые места, весь этот старый город тоже умер, и стало всюду вокруг тихо и жутко, и видно далеко окрест по умолкнувшей земле.

Мать села посреди остывшего пожара и

стала перебирать руками прах своего жилища. К ней подошла соседка, Евдокия Петровна, молодая женщина, миловидная и полная прежде, а теперь ослабевшая и тихая. Двоих малолетних детей ее убило бомбой, когда она уходила с ними из города, а муж пропал без вести.

— Здравствуйте, Мария Васильевна, — произнесла Евдокия Петровна.

— Это ты, Дуня, — сказала ей Мария Васильевна. — Садись, давай с тобой разговор разговаривать.

Дуня села рядом.

— Твои-то все померли? — спросила Мария Васильевна.

— Все! — ответила Дуня. — И твои все?

— Все, никого нету, — сказала Мария Васильевна. — Двое-то моих сыновей здесь у посада легли. Они в рабочий батальон поступили, когда немцы из Петропавловки на Митрофановский тракт вышли... А дочка моя повела меня отсюда куда глаза глядят. А потом немцы и ее тоже убили, убили сверху, с аэроплана... А я вернулась.

— А что ж тебе делать-то! Я тоже так живу, — сказала Дуня. — Мои лежат, и твои легли... Я-то знаю, где лежат, — они там, куда всех сволокли и схоронили, я тут была, я-то глазами своими видела. Сперва они всех убитых покойников считали, бумагу составили, своих отдельно положили, а наших прочь отволокли подалее. Потом наших всех раздели наголо и в бумагу весь прибыток от вещей записали.

— А могилу-то кто вырыл? — обеспокоилась Мария Васильевна. — Глубоко отрыли-то?

— Нет, какое там глубоко! — сообщила Дуня. —

Яма от снаряда, вот тебе и могила. Навалили туда доволна, а иным места нехватило. Тогда они танком проехали через могилу по мертвым, и еще туда положили, кто остался. Им копать желанья нету, они силу свою берегут. А сверху забросали чуть-чуть землей.

— А моих-то тоже танком увечили или их сверху цельными положили? — спросила Мария Васильевна.

— 'Вонх-то? — отозвалась Дуня. — Да я того не углядела... Там, за посадом, у самой дороги все лежат, пойдешь — увидишь. Я им крест из двух веток связала и поставила.

Когда свечерело, Мария Васильевна поднялась, попрощалась с Дуней и пошла в сумрак, где лежали ее два сына.

Мария Васильевна вышла к посаду, что прилегал к городу. В посаде жили раньше в деревянных домиках садоводы и огородники; они кормились с угодий, прилегающих к их жилищам. Нынче тут ничего уже не осталось, и земля поверху спеклась от огня.

Из посада уходил в равнину Митрофановский тракт. По обочине тракта в прежнее время росли ветлы, теперь их война обглодала до самых пней, и скучна была сейчас безлюдная дорога, словно уже близко находился конец света.

Мария Васильевна пришла на место могилы, где стоял крест, сделанный из двух связанных попереж дрожащих ветвей. Мать села у этого креста; под ним лежали ее нагие дети, умерщвленные, поруганные и брошенные в прах чужими руками.

Наступил вечер и обратился в ночь. Осенние звезды засветились на небе, точно, выплакавшись там открылись удивленные и добрые глаза, непо-

движно всматривающиеся в темную землю, горстную и влебущую к себе.

— Были бы вы живы. — прошептала мать в землю своим мертвым сыновьям, — были бы вы живы, сколько работы поделали, сколько судьбы испытали! А теперь, что вы, теперь вы умерли, — где ваша жизнь, какую вы не прожили, кто проживет ее за вас? Матвейю-то сколько ж было? — двадцать третий шел, а Василию двадцать восьмой. А дочке было восемнадцать, теперь уж девятнадцатый шел бы, вчера она именинница была...

Она погребала могильную землю и прилегла к ней лицом. В земле было тихо, ничего не слышно.

— Спят, — прошептала мать, — никто и не пошевелинется.

Мария Васильевна откинула лицо от земли; ей послышалось, что ее позвала дочь Наташа; она позвала ее, не промолвив слова, будто произнесла что-то одним своим слабым вздохом. Мать огляделась вокруг, желая увидеть, откуда зовет ее дочь, откуда прозвучал ее кроткий голос — с тихого поля, из земной глубины или с высоты неба, с той ясной звезды. Где она сейчас, ее погибшая дочь, — или нет ее больше нигде, и матери лишь чудится голос Наташи, который звучит воспоминанием в ее собственном сердце?

Потом мать задремала и уснула на могиле.

Полночная заря войны взошла вдалеке, и гул пушек раздался оттуда; там началась битва. Мария Васильевна проснулась и посмотрела в сторону огня на небе и прислушалась к частому дыханию пушек. «Это наши идут, — подумала она. — Пусть скорее приходят».

Мать снова припала к могильной мягкой земле, чтобы ближе быть к своим умолившим сыновьям. И молчание их было осуждением злодеям, убившим их, и горем для матери, помнящей запах их детского тела и цвет их живых глаз...

К полудню русские танки вышли на Митрофаньевскую дорогу и остановились возле посада на осмотр и заправку.

Один красноармеец с танка отошел от машины и пошел походить по земле, над которой сейчас светило мирное солнце.

Возле креста, связанного из двух ветвей, красноармеец увидел старуху, припавшую к земле лицом. Он склонился к ней и послушал ее дыхание, а потом повернул тело женщины навзничь и для правильности приложился еще ухом к ее груди. «Ее сердце ушло», — понял красноармеец и покрыл утихшее лицо покойной чистой холстинкой.

— Спи с миром, — сказал красноармеец на прощанье. — Чьей бы ты матерью ни была, а я без тебя тоже остался сиротой.

НИКОДИМ МАКСИМОВ

Максимов шел с поста на отдых. Их часть отвели во второй эшелон, и теперь бойцы расположились на временное жительство в людной деревне.

В одной избе плакали дети, сразу в три голоса, и мать-крестьянка, измученная своим многодетством, шумела на них:

— А ну, замолчите, а то сейчас всех у Германию отправлю — вон немец за вами летит!

Дети приумолкли. Никодим Максимов улыбнулся: стоял-стоял свет и достоялся, люди государствами детей пугают!

Максимов вошел в избу, в которой он был на постое, и сразу увидел хозяина, Ивана Ефимовича, освещенного полуденным солнцем.

Полуденное солнце вышло из-за лесного пожара и осветило через окно теплым светом внутреннее убранство русской избы: печь, стол и две лавки, красный угол, большой портрет Ленина, картинки над сундуком на бревенчатой тесаной стене, страницу из детского журнала со стихотворением «Корова Прова», несколько пожелтевших фотографий родных и знакомых старого крестьянина, житейскую обыденную утварь возле печи, — это было обыкновенное жилище, в каком рождались, проводили детство и проживали жизнь в старину

почти все русские люди. Все здесь было знакомо, просто, мило и привычно сердцу, привычно, как хлеб.

Максимов снял с себя солдатскую оснастку, разулел, сел и вздохнул.

В избе постепенно набирались красноармейцы разных подразделений, хотя на постое в этой избе стоял всего один человек, Никодим Максимов. Они здоровались с хозяином и молча сидели некоторое время, поглядывая на старого крестьянина, на ясный свет неба в окне и медленно осматривая внутренность избы. Видимо, тут им было хорошо, в них оживало здесь тихое чувство оставленного дома, отца и матери, всего прошлого. Эта изба, пропахшая хлебом, воскрешала в них ощущение родного жилища, и они внимательно разглядывали старика, может быть, угадывая в нем схожесть с отцом, и тем утешали себя. Потом, вздохнув и погасив цыгарку, они прощались и уходили, но приходили другие, придумывали иногда всякие пустяки, чтобы видно было, что они явились не зря, а с причиной.

Старый крестьянин хорошо понимал душевное расположение красноармейцев, и он приглашал каждого сидеть и курить, пока им еще не вышло время идти на занятия или в бой.

Хозяин смотрел на своих гостей-красноармейцев с гордостью и тайной завистью, которую он укропчал в себе, уверяя, что он и сам непременно был бы бойцом, будь он помоложе.

— Эх, будь бы я теперь при силе, и воевал бы теперь с жадностью, — высказался старик.

— Кто сейчас не солдат, тот и не человек... Хоть ты со штыком ходи, хоть в кузнице балдой бей, а действуй в одно...

— Так оно и быть должно, а то как же, не иначе. Земле не пропадать, а народу не помирать...

— Народу не помирать, — согласно произнес Максимов и тихо добавил: — А трудно, Иван Ефимович, бывает нашему брату, который солдат.

Иван Ефимович с уважением уставился на Максимова — человека (уже пожилого на вид, но не от возраста, а от великого терпения войны).

— Да то, нешто, не трудно! Разве к тому привыкнешь — надо ведь от самого себя отказаться да на смерть идти?

— Привыкнешь, Иван Ефимович, — сказал Максимов. — Я вот два года на войне и привык, а сперва тоже — все, бывало, сердце по дому плачет...

— Да как же ему не плакать, ведь и ты, небось, человек, а дома у тебя семейство, — оправдал Максимова Иван Ефимович.

— Нет, — сказал он старику, — кто на войне домашней тоскою живет, тот не солдат.

Иван Ефимович удивился и обрадовался этим словам.

— И то! — воскликнул он. — Вот ведь правда твоя: где, стало быть, обо всем народе есть дума, оттуда и солдат начинается... Где ж ты сообразил правду такую, или услышал, что ль, от кого?

— На войне, Иван Ефимович, ученье скорое бывает... Я ведь не особый какой человек, а так живу и думаю.

— На кухню, что ль, за обедом пойдешь или дома варить чего будешь? — спросил Иван Ефимович.

— Давай дома кашу погуще сварим — у нас

концентраты есть, сала положим, поедем да отдохнем, а то завтра на передовую нужно, там части замена будет, наш черед немцев держать...

— Должно, здорово они на нас прут?

— Да что ж они прут! Прут, а в нас упираются и на месте стоят. Немецкое время прошло, Иван Ефимович. Соседи наши уже вперед на него пошли, и мы, должно, на него тронемся.

— Ну, дай бог.

Поевши, хозяин и красноармеец легли отдохнуть. С фронта, как равномерные и равнодушные удары волны о береговой камень, шла пушечная канонада, и созревающие колосья за окном избы кланялись от сотрясения земли.

В ночь Никодим Максимов встал с лавки и стал снаряжаться, чтобы идти в роту. Старик помогал ему собраться в темноте и все спрашивал:

— Ну как ты себя чувствуешь-то? Не боязно тебе уходить-то?

— Надо, — говорил Максимов. — Прощай, отец!

Перед рассветом подразделение, в котором служил Максимов, заняло свое место в окопах на переднем крае, а бывшие здесь бойцы отошли на отдых в резерв. Максимов огляделся в рассвете: ему всегда нужно было сначала освоиться с местом, породниться с ним, точно он желал заручиться сочувствием всех окружающих предметов, чтобы они были ему в помощь.

Наша первая линия окопов проходила поперек отлогого всхолмия или высоты, а впереди окопов земля опускалась в долину, занятую низкорослым кустарником, в котором были луговые поляны с клеверными травами, что узнал Максимов по их сладкому дремотному запаху, доходившему сюда с низовой сыростью; далее земля поды-

малась опять на высоту, поросшую рожью и уязвленную щербиной глубокого оврага. Там уже, прямо по водоразделу, проходила немецкая линия, обороняемая частоколом с проволокой. Это был курский край — степь и волнистая земля, заросшая перелесками и благоухающим разнотравьем по своим влажным впадинам, орошенным малыми реками.

Красноармейцы, пока было тихо, занимались своим хозяйством: подшивали ослабевшие луговицы, перебирали и перекладывали вещи в мешках, убирая их поудобнее, читали сызнова старые письма, чтобы получше понять их, осматривали обувь и рассуждали о ее необходимом ремонте. Сосед Максимова слева, Семен Жигунов, тщательно выбривал концами ножниц волосы из ушей у сержанта Николая Шостко и сообщал сержанту сведения о пчелах. У Жигунова был такой план, чтобы после войны, наравне с сахароварением, развить пчеловодство до полного изобилия, потому что мед есть волшебная исцелительная пища для народа, которому нужно будет поправляться после войны для здоровой, счастливой жизни.

У Максимова не было дела, у него все было в исправности, поэтому он стал рассматривать муравьиную жизнь в земле, видя в этой жизни тоже серьезное, важное дело.

Командир роты прошел по окопу и сказал бойцам:

— Задачу вы знаете — нам придется уничтожать пехоту противника огнем и не пускать ее далее нашего штыка. Держитесь, ребята!

Командир прошел далее, всматриваясь в лица своих бойцов. У Максимова вспотели ладони от волнения и в ожидании боя стало часто биться сердце.

Позади послышалось глубокое гудение, словно зазвучал древний голос из камчатных недр.

— Это наша авиация! — сказал Жигунов. — Давай сюда, птица небесная... Сколько там вас — штук десять-то прилетит или нет?

Вначале прилетело девять бомбардировщиков, они сразу же трещающим свистом крыльев пали с неба на немецкую сторону и, взорвав бомбы в землю, ушли вверх, взорвав прожорными, работающими моторами. Земля отозвалась на удары бомб, вскинув вверх свой темный прах.

Вслед первым девяти самолетам прилетело еще восемь раз по девять. Черная горячая пыль взопла высоко к небу на немецкой стороне, и там стало темно.

Пыль с немецкой высоты постепенно опускалась в долину, и заметно было, как из пыльной тучи выпадали вниз более крупные сухие комочки грунта, что походило на редкие капли дождя, но дождя, в котором нельзя освежиться и можно задохнуться.

Немцы стали отвечать артиллерийским огнем по нашей стороне; однако, сразу же после ухода самолетов, наша артиллерия из ближних тылов начала работать на погибельное сокрушение немецких рубежей, так что на русской стороне осыпалась земля с окопных отвесов и живые трещины пошли по цельному месту. Ничего не стало слышать, и вовсе сумрачно было впереди от вздымающейся в небесное пространство земли.

Максимов поглядел на ближних людей. Лица их уже покрылись пылью, но солдаты были довольны.

— Гляди, что народ наш в дылах наработал! — крикнул Жигунов Максиму. — Видали, сколько те-

перь самолетов и орудий. Тенерь и воевать не трудно!

В окоп бросились из воздуха два воробья и трясогузка; они сели на дно и прижались к земле, не пугаясь более людей.

Максимов увидел на скате немецкого холма большое бонусшее (дело танка. Он тяжело, но ходко пошел вниз, в долину. Жигунов выстрелил в него из винтовки, но это было сдуру.

— Значит, они там живые! — крикнул он Максиму.

И они увидели еще десять танков, идущих в упор на них на подъеме из долины. Русский пушечный огонь был им вослед, но более же приближался, чтобы не повредить своего рубежа. Бронбойные средства были на флангах стрелковой роты, и отсюда начался частый огонь. За водоразделом холма взошли два облака, темнее пыльного сумрака. Там горели немецкие танки.

— Ты что, Никодим? — ни к чему спросил Жигунов у Максимова.

— Я ничего, — ответил Максимов. — Обождем. Когда немцы у танков покажутся, и тогда кончать будем.

— Что кончать? — не понял Жигунов.

Максимов поглядел на него.

— Как чего? Немцев.

Проход машин, идущих с яростной мощью, разъединил всех людей, и каждый из них прижился к земле на дне окопа. Тела танков пробитыми щитами покрыли просвет окопов, и смолоотый гусеницами гурит засыпал красноармейцев. Жар и чад остался в окопах от прошедших машин, но вновь стало светло над головой.

Люди поднялись в ожидании и увидели впер-

ди, что им нужно было. Согнувшись, изворачиваясь от флангового огня, на склон русского холма бежали немцы с автоматами. Максимов разглядел их бледные лица, светившиеся белизной даже сквозь пыль, покрывавшую их, и полосы пота, стекавшего из-под пилоток. Они уже стреляли на бегу, ожесточая себя.

Красноармейцы дали им навстречу спокойную очередь из автоматов и открыли огонь из винтовок. Передние немцы пали, а задние залегли. Но вслед им бежали другие, и залегшие подымались вместе с ними и стремились вперед.

Максимов бил из винтовки выборочным огнем; он на всякий выстрел избирал себе цель.

Однако немцы не прекращались, будто низовой жустарник, разделявший два холма, постоянно рождал их.

— Да на них и огня нехватит! — озадачился Максимов. — Вот мошकारа какая из болота.

После команды, поднявшей всю роту в штыковую атаку, Максимов с усилием вылез из окопа; собственное тело ему показалось тяжелым и неуклюжим.

Теперь немцы почти все, без малого, залегли, а красноармейцы набегали на них с ходу и слегка припадали к ним, чтобы спешащие руки вернее ударили штыком. Максимов заметил, как Жигунов, издали еще приноровив тело, сработал одного прикладом, и сам затем повалился на врага, не встав более...

Максимов увидел ствол автомата, выставленный на него, и немца, у которого в судороге неровно дрожала нижняя челюсть.

— Да ну, что ты! — крикнул Максимов и добавил что-то еще, уже не помня слов, и, тут же

перехватив винтовку, вышнó прикладом автомат, а самого немца забыл убить.

Убил он другого, который сам приподнялся на-встречу ему.

Истребив ближнего противника, рота залегла в ожидании, а затем командир приказал обратно занять исходный рубеж.

Максимов снова вошел в свой окоп. Бой теперь слышался в тылу, куда прошли немецкие танки.

До самой ночи неприятель не сходил с высоты против нашей роты. Ротный командир прошел по окопам и предупредил всех бойцов, что вся рота теперь окружена: противник позади и впереди, а фланги тоже отошли в сторону по приказу вышестоящего командования.

— Но окружение — это ничего, — сказал командир. — У нас потери малые. Ночью к нам, в наш мешок, войдут с боем еще две роты, а наутро мы пойдем вперед и прорвем наш мешок в немецкую сторону. Такая теперь наша будет тактика: когда полезно, мы и сами в мешок залезем...

— Товарищ капитан, разрешите спросить, — обратился сержант Шостко, — а как танки и живая сила противника в нашем тылу?

— А пусть они чахнут там, — объяснил капитан. — Ими там займутся. Наша задача — не выпустить обратно их пехоту. Мы в мешке, а кому легче — скоро увидим.

Максимову это положение понравилось, потому что оно было умным и смелым.

— Ничего, товарищи бойцы, — улыбнулся командир. — Окружение — это не стена. А если и стена, то мы сделаем из нее решето. Мы научились теперь это делать, вы сами знаете.

— Теперь воевать спокойно можно, — сказал Максимов. — Теперь у нас оружия много и понятие есть...

После полуночи в окопы тихо, один по одному, вошли еще две роты, и в земле стало тесно. Подремав немного, люди пробудились от неприятельского огня. Противник бил тяжелыми снарядами и уже рыхлил землю прямо возле линии окопов. Майор, общий командир всего трехротного соединения, прикажет оставить рубеж и, выйдя осторожно вперед, затечь в низовом кустарнике и изготовиться там к штурму немецкой высоты; проволоки на той высоте теперь уже не было, ее размолотила наша артиллерия.

Максимов заодно со всеми пополз из окопов вниз, мимо охлажденных немецких солдат.

Пылью, комьями земли и жаром обдало Максимова от близкого разрыва снаряда. Он поскорее пополз дальше, а потом приподнялся и побежал в кустарник.

— Стой, обомлди, ты кто? — глухо прошептал ему кто-то с темной земли, совсем теперь невидимой после ослепящих разрывов.

— Я Максимов, а ты?

— Капитан Махотин... Ты помог мне маленько...

Максимов склонился к человеку и узнал в нем командира своей роты.

— Что с вами, товарищ капитан?

— Ранен, должно быть, осколком, стыну весь. уберни меня с поля, пусть бойцы меня не видят — им в атаку скоро идти... Найди пойдн майора... Одни руки действуют у меня, подняться никак не могу...

Максимов нашел майора уже вниз, в кустар-

яшко, и доложил ему. Майор послал с Максимовым санитар и приказал им вынести капитана с поля и найти для него безопасное убежище.

— Есть, — принял Максимов приказание.

Вспышки разрывов то и дело освещали местность, и, пользуясь этим судорожным, мгновенным светом, санитар быстро перевязал капитана Махотина — он оказался раненым пятью осколками в голени, а больше пока санитар ничего не обнаружил. Потом Максимов и санитар посадили капитана, как в кресло, на свои сложенные кисти рук, он обхватил их обеих руками за шею, и они понесли его, перемогаясь, по темной земле.

К исходу ночи Максимов и санитар принесли капитана в ту деревню, где еще вчера гостил Максимов у доброго старика.

Иван Ефимович не спал. От старости и от войны он спал теперь вовсе мало.

Старый человек заплакал при виде раненого молодого капитана и стал стелить для него мягкую постель.

— Немецкие танки тут проходили? — спросил капитан.

— Да гудели недалеко, из пушек били, чума их знает, — ответил Иван Ефимович.

Санитар осмотрел перевязки на теле капитана и, уложивши раненого удобно в постель, ушел за врачом.

— Трудно вам, товарищ капитан? — спросил Максимов. — Усните, а я посторогу вас от немцев.

Капитан грустно поглядел на Максимова побледневшими, обессиленными глазами.

— Мне не трудно, — сказал он тихо.

Максимов и Иван Ефимович сели на лавку возле кровати и внимательно смотрели на капитана.

Капитану стало легче при близких людях, и он сказал им:

— Мне не трудно, я вытерплю и встану опять на войну...

Он отыскал взором Максимова.

— Ступай обратно в роту!

— А как же вас оставить одного, товарищ капитан?.. Тут немцы бродят, а вы ослабли.

— Иди, я тебе сказал. Ты там нужен, а мы здесь с дедушкой сами обороняться будем..

— Да ведь раз дело такое, то придется, — сказал Иван Ефимович.

— Пойди сюда, товарищ Максимов! — произнес капитан. — Мы давно с тобой служим, ты живой, ты здоровый, ты опять будешь сегодня в бою...

Максимов наклонился к постели и осторожно, вытерев сначала губы, поцеловал командира в лоб. А потом он взял винтовку и ушел из избы вперед, в свою роту.

ДОБРАЯ КОРОВА

Рассказ старослужащего красноармейца

Мы шли из резерва маршем к верхнему Днепру. Шли мы напрямую по нечистым полям, где немцы посадили мины, но обходить те поля далеко было, потеря уже времени нам не разрешалась; впереди нас разводкой шли минеры и давали нам направление, а расетки идти так было мало удобно, и к вечеру мы утомились. На ночь мы стали на постой в деревне Замощье. Там осталось целых всего четыре двора, а прочие хаты все сгорели до тла.

Замощье, помню, расположено было на доброй земле; хаты стояли на возвышенности, но не крутой, а на отлогой, и оттуда был виден людям весь мир, где они жили. Суходольные луга начинались внизу у той возвышенности, потом обращались в посменные и уходили до самого Днепра — реки верст на десять или более, и от ровности той земли на взгляд казалось, что пойма восходит вдалеке к небу и Днепр светит выше земли. Сладких кормовых трав там рождается столько, что к зиме можно готовить кормов на любое поголовье, сколько хватит крестьянского усердия. И самая поздняя отава, я слышал, там тоже не кислой бывает, — значит, там почва хо-

рошо умеет солнце беречь. Но тогда, хоть уж октябрь месяц был, весь травостой на лугах цельным стоял — народ был на войне, и мины в траве смертью лежали.

Я с прочими бойцами стал на ночлег в крайней хате, что целая была, а еще три целых хаты были подалее. Мы поместились в сенях на помостях. И тут же в сенях за дощатой обмазанной стеною была закутка для коровы. В хате помещалось семейство — женщина-крестьянка, красноармейская вдовица, с четырьмя малыми детьми. Муж ее скончался от ранения еще по началу войны: после ранения он пошел обратно до своего семейства, пожил дома немного, умер, и жена его похоронила. Она долго старалась, чтобы муж оправился и жил снова как следует, она лечила его травами и легкой пищей. Но рана была тяжелая, в живот, — и умер солдат.

Женщине что же дальше делать, раз четверо детей при ней? Все дыхание у нее было при корове — без коровы ей с детьми гибель. Женщина была способная, не старая еще, и стала она жить да детей растить.

А тут явились немцы. Что делать хозяйке, — живет она и при немцах; живет неудобно, как будто постоянно находится при смерти. Время идет, скорбь не проходит, но Красная Армия воюет скоро. Собрались немцы в отход, и собрались в минуту времени: наша часть их в свой маневр взяла и не дает сроку. Немцы к хозяйке моей хотели зайти: может, думали, корову угнать управимся, а хату, дескать, в момент запалим. А хозяйка тоже не без рассудка жила. Она еще загодя, впрок, заготовила себе три легкие пехотные мины. Одну мину возле хаты поло-

жила, а две — у коровьей закутки. Немцы, по своей норме, сразу в гости к корове пошли. Ту мину, что возле хаты была закопана, они миновали, а что возле закутки были захоронены — те мины брызнули до немцам, позже потом все сени в дырках были, и корову в закутке поранило, но на ней зажило.

Теперь мы в Замощье появились из резерва. Лежу я ночью в тех сенях. Бойцы со мной тоже лежат в ряд, иные спят, иные думают. За стеною в закутке спит корова. Иногда она тяжело вздыхает, кашляет и чешется боком о сучок в стене; потом помолчит, успокоится и опять тихо-тихо вздохнет. Всю ночь я не спал или так — дремал помаленьку, и все слушал корову — как она грустно дышит, сдувая сор с земляного пола, и кашляет.

Посреди ночи вышла из хаты хозяйка с ночником, чтобы проведать корову. Я тоже встал, чтобы поглядеть, что с коровой. Корова была большая, добрая; она не спала, она лежала на полу и глядела на нас с хозяйкой. Хозяйка поласкала корову, огладила ей весь живот, а живот у нее большой, натужился — стельная была матка, еще месяц-полтора, и ей, вижу, пора телиться.

— Ну, лежи, отдыхай, кормилица! — сказала хозяйка.

Я осмотрел хозяйку. Женщина она еще была не старая, против жизни еще могла стоять, темноглазая, задумчивая такая...

Лежу я опять на своем месте, скоро подъем будет и в бой пора на переправу. Не спится мне, не отдыхаю, а идет во мне размышление. Я сам орловский. Был у меня сын, малый пятнадцати лет, угнали его немцы — не от пули, так от исто-

мы помрет у них, более я его не увижу, надежды мне нету. Хозяйка моя одна жить не стала, — хозяина дома нету, но то я вернусь, не то нет, сына увели на погибель, — взялась в ней с тоски чахотка, потомилась она и более не встала. Я тут же вскоре на два дня в отпуск приехал. Пошел я к жене на могилу, вижу — яся моя прошлая жизнь окончилась, ничего более нету. А сам я однако целым живу, сам я свежий еще солдат и природу еще нужен.

Думаю я это все правильно и опять слушаю, как вздыхает жорсва; но так уж, видно, положено ей терпеть, потому что в чреве у нее готовится другая жизнь. И чувствую я, что уйду отсюда и скучать буду по этой корове.

Из Замошья мы вышли еще затемно. Жалко мне было оставлять опять на сиротство без хозяина двор вдовницы, да с неприятелем надо было управляться.

Чуть только светать начало, подошли мы к Днепру и притаились в травостое, недалеко от самого уреза воды. Время уже осеннее, вода в реке серая, неживая, глядим на нее — и у нас загодя сердце зlobнет. Поперек Днепра тут мост до семидесяти будет и место глубокое, а на правом берегу круча отвесом стоит, туда нам и надо выходить было. Я думаю-соображаю и вижу — правильно, что нам как раз здесь переправу нужно делать. Выше и ниже по течению места для персправы удобнее и спокойнее будут — там река шире, значит, не так глубоко, и правый берег отложе, но там и немцы нас ждут; они все время стреляют контрольным огнем по тем речным местам, а покажись мы там — накроют пламенем, дыши тогда в промежутки. На войне

кто умней, тот думает не по обыкновенному разуму: где пройти нельзя, там и есть дорога, где плохо — там хорошо.

Командиром роты у нас был старший лейтенант Клевцов. хороший человек и настоящий офицер, а сам тоже вышел из рядовых бойцов. Когда у бойца есть офицер, солдат при нем как в семействе живет, он воюет себе и чувствует, что в деле рассудок есть, а в роте старший человек с общей заботой живет — офицер, он и тужит обо всех.

Травестой был хорон, но не век нам было в чем сидеть. Командир роты обещал наше расположение, проверит знание задачи отделениями и переговорил с нами пленному.

— Переплывешь речку, Кузьма? — спросил он у меня. — Ты как плаваешь-то?

— Переплыву, товарищ старший лейтенант, — отвечаю я. — Плаваю я плохо, а плыть надо — надобность большая.

Не знаю, вышло ли так по плану и расчету наших командиров или по случаю погоды получилось, однако заволокло реку, землю и небо туманом — как раз то нам и требовалось. Настала ни тьма, ни свет, ни видно, и неприглядно — такой туман ни прожектор, ни ракета, ничто наслезь не возьмет.

Выждали мы приказа. Командир роты вблизи появился; он улыбается и говорит:

— Пора, товарищи бойцы, и на ту сторону Днепра! Впереди у нас саперное подразделение — саперы рубят лаз на кручу. Не бойтесь воды — кому холодно будет, пусть помнит, — зато позади него всей нашей России тепло!..

И верно так! Вошли мы в воду и поплыли по

силе-уменью, и ничего с нами особого не стало; сначала только охолодали, нагревшись до того на воздухе. А потом мы притерпелись к прохладе и от тяжести одежды согреться в работе начали. Но туман кругом садился на нас серой гущей, ничего не видать, бело и глухо стало окрест, будто спокон века и свет не светил. Плыдем мы, автоматы не мочим: я его сберегу, он меня спасет.

Плыдем мы далее вперед, силы наши в расход идут, сердце спешит биться, но долг свой исполняет исправно, а того берега все нету. А уж по времени, по нашему терпению пора бы тому берегу Днепра быть. Чувствуем, что течение вниз нас сносит, но мы стараемся упредить его, на что тоже во времени и силе потеря идет, но мы терпим. Возле меня Самошкин и Селифанов плывут, тоже люди из нашего отделения. Самошкин так чуть спереди меня держится, и я по нему лавирую, а Селифанов маленько отстаёт, он мне не приметя.

Вскоре вижу, их нету никого: туман нас всех разделил — живи один в сумраке. Я робеть стал — блуждаем, думаю, и к сроку на тот берег не поспеем, обидим тогда командира. Гляжу в мутный свет, вижу — Самошкин у меня теперь сбоку на правом фланге находится, а Селифанов даже впереди. Я, как старослужащий, даю им указание: держи, дескать, струю реки в упор на правое плечо, нам блуждать — не дело. Но шуметь-то особо нельзя, и я им это тихо сказал, они может, ничего и не слышали, и опять мы тут же потеряли друг друга. А тело уж стыть до костей начинает, давно мы в воде, шинель на железную стала похожа и вяжет туловище саваном,

и глазам дремлется. Ну, хорошо, стало нам плохо. Я спешу плыть, а сам озираюсь — людей своих гляжу. Плынут где-то наши солдаты, может, и близко от меня.

Потом я плыл как в дремоте, а очнувшись, подумал, что уснул и вижу сон. Влево от меня плыли тени в тумане; они плыли на левый берег, который мы оставили за собой. Я стал думать. Как старослужащий, я сообразил, что мне надо, и повернул обратно за тенью людей.

Три неприятеля гнали перед собой бревно. Они опирались на него руками, положили на него автоматы и ворочали в воде ногами, чтобы плыть на нашу сторону. А я был сзади у них. Спрелять с воды трудно, автомат замочишь, шум подымеешь и промахнешься. Оно бы можно дать огня, но крайности пока нету.

«Значит, — думаю. — немцы в контр-атаку наладились. Мы к ним, а они к нам. Опять же, — думаю, — в Замосье направляются». Стал я сердчать.

Немцы оставили свое бревно, толкнули его по течению и встали в воде по грудь; далее уже был берег. Я тихо заплыл им вниз на фланг и тоже ступил ногами на дно, а затем сразу порешил их очередью. Чтоб не отвязать от холода, я сразу поплыл обратно; плыву опять в тумане за своими, вынул на случай клинок и всадил его себе в шинель на груди, чтобы сподручнее было его взять. Слышу — в тумане выстрел раздался, а затем очередями начали палить: наши немцев убьют на воде. Я по воде на огонь поспешно пошел. Плыву, наблюдаю, гляжу — из туманного сумрака, как из глубины колодца, идет на меня тихая тень, и чем ближе, тем она больше. Я к ней плыву со своими мыслями, но не понимаю.

Потом увидел ближе и понял — это крупный немец на спине плывет, на животе он, стало быть, ильть уморился. Я убождал его. Он наплыл на меня, и я его ударил клинком в горло сбоку. Неприятель размахнул руками, повернулся было ко мне и сразу пошел под воду, а оттуда забулькал воздух; видно, он там замечал, что помирает. Кто ж его услышит? — а мне его слушать некогда.

Я плыву далее по своему делу. Смотрю — опять Самошкин на виду показався и автомат наружку держит. Он мне сказал, что сейчас плот с немцами плыл по воде, семеро солдат было на нем, шестерых побили, а один вроде целый остался и уплыл по реке.

— Едва ли он цел! — сказал я Самошкину.

— Плыдем на крутой берег, — сказал мне Самошкин. — Я теперь к туману привык и направление знаю!

Мы выплыли с ним к отвесному правому берегу, но не враз нашли место, где можно было выходить, а еще долго плыли навстречу течению у мокрой глиняной стены того берега.

Подъем на кручу нам устроили немцы. Они догадливые, подеюкли туда на отвес два деревянных блока с веревками, чтобы спускать сверху заготовки шитые плоты. Два плота они спустили и войско свое на них посадили. всего, должно быть, до взвода, — вроде боевой разведки или штурмового десанта. — а там кто их знает, что они далее делать полагали, но мы их в тумане на воде встретили и отрешили от жизни, а саперы наши не дали управиться чихним саперам, чтобы те блоки отстранили или покалечили, — наши саперы сбили пятерых береговых немцев огнем.

Нас подняли саперы по веревкам на сушу, и мы опять собрались все вместе в целости и друг другу милее показались, чем на самом деле.

Наш командир, старший лейтенант товарищ Клевцов, осмотрел каждого из нас.

— Ничего, — говорит. — мы на ветру обсохнем. Вперед!

И мы побежали к сухоходльному муту в неприятельскую сторону. А видно было спереди шага на четыре, не более. Но командир наш знает, что у нас будет впереди, и боец с ним сплоскся.

Глядим — туман вокруг нас ключьями пошел и видно стало вперед гораздо далее. Солнце, стало быть, на небе в силу вошло и поедает туман скоро все станет свет и будет хорошая погода.

Командир остановил нас, разведка местность, переговорил что нужно по радио и велел нам рвануться в грунт.

Мы расселились своей ротой в кустарнике по склону широкой балки, но пробыли там недолго времени.

Впереди нас, вверх по балке, оказался целый немецкий укрепленный район, и правый его фланг был в торфянике, где прежде жители копали торф.

— В воде мы с вами, дорогие мои. нынче солзаранку воевали, — сказал нам наш командир роты, — а в эту ночь мы будем в огне сидеть и из него бить врата!..

Мы тогда не сообразили его слов: мы подумали: «Ну, что ж, конец, что ль, нам ночью будет?» Да не похоже, командир у нас со свечой в голове. Потом уж и нам понятно стало, что командир наш придумал совершить.

День отстоялся погожий; после обеда нас

любомбила авиация — шесть «Хенкелей», но бомбили они наспех, понижу не ходили, и мы обошлись без потерь. А к вечеру, к сумеркам, наша артиллерия с левого берега стала бить по немецкому укрепленному району, и уж била она расчетливо, каждый снаряд укладывала по живому месту, чтоб не зря пушки шумели. Торфяной площади тоже досталось огня, но не густо, а сколько надо. Торфяник почти сразу зацадил от нашей артиллерии, там в залежи начался пожар, и теперь его ничем не уймешь. Это стало быть, наш командир заказал нашей артиллерии такой огонь — где на сокрушение, а где на поджог.

Однако ночи мы не дождались. Пришел приказ, что нужно тут же, после артиллерии, итти на пролом всех укреплений неприятеля, и другие роты нам правят вслед через Днепр на подмогу.

Командир роты ставит задачу — немедля занять тот торфяник, что горит перед нами; в середину немецких укреплений пойдут наши танки, а за ними прочие наши пехотные подразделения. нам же надлежало занять немецкий фланг, торфяную залежь.

Поглядели мы, куда нам итти. До залежи было километра полтора; пройти, конечно, можно — тут и кустарник кое-где по балке рос, а где в рост итти нельзя — у солдата живот шершавый. — можно и на животе ходить. Пройти местность можно, но торф горел, и теперь, когда чуть стемнело, явственно видно было красное пламя, которое языками выходило из земли, а надо всею залежью чад стоял. По местности мы пройдем прохладно, а далее, как отвоюем торфяник, так там в огне нам нужно сидеть... Командир, товарищ Клевцов, сам угадал наше недоумение

и сказал нам, что мы зря угара боимся; это немцы там, должно быть, угорели и уползли оттуда.

— А вы, товарищи, — сказал нам офицер, — вы меня знаете, вы в том огне гореть не будете и в торфяном чаду не угорите. Я сам пойду вперед, я научу вас, как надо там дышать. На торфе едва ли теперь немец остался, мы зайдем залезь и обложим себе и другим подразделениям общую боевую задачу.

Мы молчим и слушаем, мы уже понимаем кое-что: каждый ведь человек имеет сознание, и он радуется, когда торжествует ум. Тогда и дураку видно, что он тому разуму тоже родня, хоть и дальняя.

— Слушайте меня, — говорил командир. — Огонь поедает воздух, он кормится им, огонь без воздуха не горит. Огонь сосет к себе понизу чистый воздух, и каждому из вас нужно найти себе место, где дышится безвредно и можно терпеть, и там следует находиться. Можно покопать саперкой и дать воздуху проход свободней — пусть пожар горит сильней, а ты прильни к потоку воздуха, как к ручью, и дыши вольно. Главное, пойми подробней свой ближний очаг огня и топи его, как печку, а сам дыши в поддувале. Жарко будет — раздеться можно, обсушимся, и в огне можно жить, но разуваться нельзя, шортынки будем сушить в другом месте.

— Товарищ командир, — обратился связной, — по радио передали: «Сирень цветет!»

Командир дал команду — изготавиться к атаке. Вышло правильно по расчету нашего командира. Мы прошли свободно до самой торфяной залежи, и встречного огня оттуда не было. Зато трудно нам было миновать угарный дым на под-

ступило к торфу, и мы там ползли низом, где шел чистый воздух на питание огня.

Торфяник горел большими очагами, как многолесная дровяна, было шумно от огня и жутко. Немцы прорыли в торфе траншеи, и по дну их шел к огню свежий воздух из чистого поля, а чуть выше изморосм курилась дым и чад. С непривычки нам было жарко и нудно.

Пробыли мы там, должно быть, до полночи. К тому времени к нам еще целый батальон с левого берега подошел и тоже залег с нами. Немцы стреляли по залежи из артиллерии, но редко — для одного предупреждения. Они думали правильно: кто в пожаре, в огне и в дыму будет жить!

В полночь нам велели подыматься. Задача нам была — взять штурмом главное немецкое укрепление в этой местности. К этому часу бой уже гремел по всему району, и небо дышало заревом от залпов пушек: там уже билась в наступлении наша часть, а мы пока стояли тихо.

По цепи нам передали слова командира: «Вперед, нас немец отсюда не ожидает. Направление такое-то, а там — вслед танкам. Отдыхаемся, бойцы, в чистом поле!»

Наша танка пришла за нами прямо на горящее болото, и мы пошли за ними. Немец встретил нас слабым огнем, он не ожидал, что русские выйдут к нему на фланг из пожара, где тлела земля.

Бой, говорили мне, там был совсем скорый, немцы легли от нас замертво, а какие отошли спасаться. Я-то, как побежал за своим отделенным, — мы хотели проверить один сарай, что увидели на пути. — так почувствовал, что жизни моей тесно стало в моем теле, она наружку клокочет и

вести мне рвет, я закричал от этой тягости и упал.

Меня ранило тогда в грудь насквозь. Пришлось болеть, потом выздоравливать.

Из госпиталя, как шел обратно в свою часть, я заходил в Земошье, к вдовнице. Коровя ее телушкой отелилась, дети живы и здоровы, сама хозяйка тоже ничего живет и видом подобрела. Чего ж ей,—коровя отелилась исправно, в деревне теперь покой, в сельсовет она заявление подала, чтоб детям одежду на зиму выдали... Я поговорил с вдовицей по душам. Она ответа мне не сказала, стесняется еще и обмана боится, но я понял, что после войны она будет согласна на житьельство и на хозяйство со мной. Это ничего, мы сождем. От терпения серьезности больше и дело закрепнет надежней, а дети ее при мне сиротами не будут. Она это понимает: она вдовица умная. А чего ей еще нужно? Ведь на мне две медали теперь и один орден. И сам я мужик не ветхий еще.

ОФИЦЕР И СОЛДАТ

1

Гордей Силин, донской казак 1885 года рождения, разговаривал со своим другом, Никифором Поливановым, убитым немцами в 1916 году. Гордей Силин держал перед собой на столе потемневшую фотографию покойного и глядел на лицо, от которого не могло отвыкнуть его сердце.

Гордей Силин прочитал затем письмо Поливанова к нему от июня месяца 1916 года, хотя уж давно знал его наизусть. «Кланяюсь тебе, Гордей Иванов Силин, и супруге твоей Евдокии Филипповне с моим почтением... Бои наши были плохие и потери в людях были вредные, солдаты умирали на поле как сироты. Командир, хорунжий Завьялов, не знал в нас души, а знал одну молодцеватость, и чтобы был порядок по форме-уставу. Порядок в войске необходимо нужное дело, солдат сам знает про то, и ему легче жить в порядке, и в порядке потери от смерти будет меньше. А того он, хорунжий, не знает, что и в устав, в дисциплину войска нужна добавка солдатской души, а то нечем будет жить войску, и без своей мысли солдат неприятеля не одолеет. Солдат стал скучный, он живет сиротой, нету у него семьи при себе и нету того, кто стал бы заместо них на время, чтоб сердце наше мог-

ло кормиться при нем и не было постылым. Тогда и мы молодцами будем... А то ляжет на душу темная тоска и станет нам все одинаково и никому не нужно. Пока прощай, Гордей Иванович Силин».

— «Пока прощай» говоришь, Никифор Поликарпыч!—осудительно сказал Силин.—А вышло, что навек ты со мной попрощался. Покойся, казак!..

— Силин! Ты тут? — произнес голос за дверью избы, и в помещение вошел старшина Чероватых. — Давай собираться, мы выступаем — приказ по полку! Кличь расчет своего орудия! Смотри, не позабудь чего, ты старослужащий казак, хоть ты и вступил ныне в Красную Армию по своей по доброй воле.

— Еще чего! — обиделся Силин. — Не в гости, а биться идем.

2

Капитан Артемов, командир той батареи, в которой служил Силин, устроил свои семидесятишестимиллиметровые пушки на позиции и занял свое место у телефона на наблюдательном пункте в старой земляной щели. Лошадей Артемов велел ездовым отвести в развалины ближнего хутора, а пушки приказал расчетам замаскировать сетями и травой.

Была поздняя осень; день умирал быстро, и ночь наступала долгая, как смерть. Часть расположилась на исходе, но сигнала к бою еще не было. Неприятель таился невдалеке, укрывшись в земляных гнездах на ровной приазовской степи. Артемов позвонил полковнику Пустовалову и доложил ему о своей готовности к ведению огня и к предначертанному оперативным планом сопровождению атакующей пехоты.

— Как у тебя люди? — спросил полковник.

— Люди исправны, товарищ полковник.

— Они неделю отдыхали — чего им быть несправными? — сказал полковник Пустовалов. — Я не о том тебя спрашиваю, капитан. Я спрашиваю тебя, — ведь ты знаешь оперативную задачу, — удержат ли они танки, сколько бы их ни было, стенами своих пушек, чтоб потом вперед идти... Как у них сердце лежит?

Артемов подумал.

— Сердце в расчетах хорошее, товарищ полковник.

— А ты знаешь точно?

— Точно, товарищ полковник. У наших казаков отцы-предки хорошие были и в сынов своих доброе сердце положили. На том мы и стоим.

Полковник невнятно пробормотал что-то, потом жественно сказал:

— Ну, действуй, а я тебя без помощи не оставляю...

Артемов вышел обратно к старее. Со стороны Азовского моря дул и напевал в пустоте, словно разговаривая сам с собой, морской теплый ветер. Отсюда уж недалеко был Крым, здесь уже слышно было дыхание «земли полуденной».

За тысячу верст отсюда были дом и семейство капитана Артемова. Два года он прожил на войне и отвык от дома. Слово о далекой старине он вспоминал о своей прежней жизни в мирное время, о жене, о троих детях, растущих без него, о вечах при лампе за чтением книги и размышлением, о будущем, которое казалось тогда непрерывно возгорающимся светом, освещающим весь мир; жена и дети уже спали по обыкновению, безвестная бабочка, влетевшая в горницу

еще днем, беззвучно летала вокруг огня, крошечная жительница тихого ночного мира. Все это давно миновало и лишь тихой тоской изредка осеняет сердце человека.

Над горизонтом поднялась бледная луна, почти невидимая от немого зарева дальних пожаров, словно безмолвный печальный образ в память всех мерных, и пушки Артемова обозначились на земле длинными тенями. Артемов обошел батарею и велел своим людям вкапывать пушки в землю. Капитан постоял и последил, чтобы люди работали как следует, хотя, быть может, здесь придется пробыть всего полчаса. Он приказывал своим людям постоянно исполнять нерушимое правило: «остановился на день, вкапывайся навек», хотя бы солдаты целые сутки до того не выходили из боя. Солдаты обыкновенно говорили: «Зачем теперь нам землю копать, когда хорониться в нее некогда — мы вперед идем, и так пол-России изрыли, пахать негде будет!» Но капитан Артемов, слыша эти слова, повторно приказывал: «Вкапывайся! Береги оружие и самого себя! По рытой земле целым домом вернешься!»

Артемов понимал землю как оружие — и для обороны и для наступления. В каждой местности есть свое своеобразие и своя тайна, и тот офицер, который способен прочесть тайну местности, где ему предстоит действовать, скорее и проще решит свою тактическую задачу, потому что бой есть не только стрельба и атака в штыки, он всегда есть движение на местности, и поэтому точное знание местности и расчетливое движение по ней решает бой наравне с огнем и умелостью солдата. Артемов мог теперь часами вчитываться в карту, испытывая при этом то

счастлиное возбуждение мысли, которое он чувствовал прежде лишь при чтении художественных книг.

— Товарищ капитан, разрешите спросить, — обратился Гордей Силин, соскребая лопатой лишнюю землю с подошвы сапога. — Отчего немцы в воздухе слабы стали — должно, горючих запасов у них теперь нехватка?

«Но хочет солдат землю копать», — подумал капитан Артемов.

— Перекури! — сказал Артемов всему расчету Силина и сам сел среди бойцов на выбросе грунта.

— Уж далече мы теперь от родины, от Дона, отошли! — проговорил, отдыхая, Силин.

— Родина еще и впереди нас, — сказал Артемов. — Она не в одном твоём курене живет.

— Вся-то ее враз не оглядишь, не опознаешь. — тихо высказался заряжающий Игнатий Миронов.

— Кто ее знает! — произнес Силин. — А то и враз ее, всю русскую землю, вдруг оглядишь и узнаешь, и станет она тебе еще родней.

— Командира к телефону! — крикнул телефонист.

3

Полковник сообщил Артемову, что немцы, по сведениям, поступившим от разведки, атакуют нас танками и пехотой. Их нужно принять на огонь батареи и с ходу перейти в контр-атаку и в наступление, вырываясь на колесах, даже вперед цепей нашей пехоты, если будет в том необходимость.

В полночь немцы взревели дальнобойными пушками и пустили танки в наше расположение. Телефонист Перекудов быстро работал возле Ар-

темова, передавая на батарею данные для стрельбы, получаемые от вычислителей. Танки гудели вдалеке по степи, но мрак ночи затруднял борьбу с ними, а сведения корректировщиков не давали уверенности в положительности работы огня. К тому же вблизи батарей Артемова, около крайнего левого орудия, начали разрываться осколочные снаряды. Возможно, что немцы уже определили батарею Артемова.

Капитан осветил фонариком карту и в волнении стал изучать местность, где сейчас происходил бой. Слева, в полкилометре отсюда, был подлесок или молодой фруктовый сад; туда всего выгоднее было бы переместить батарею, потому что подлесок все же естественное укрытие и маскировка. Правее и впереди находились немецкие земляные гнезда для установки орудий; их немцы оставили позавчера, и они были нанесены на карту карандашом; немцы, конечно, хорошо знают про эти земляные ячейки и в любой момент могут пристрелять их точным огнем; стало быть, немцы должны сообразить, что русские на их оставленные артиллерийские позиции не пойдут, а пойдут в тот подлесок слева, потому что другой позиции тут выбрать негде: всюду ровная пустошь.

Артемов приказал вручную перекатить орудия на оставленные немцами артиллерийские позиции; он решил там выждать танки и расстрелять их в упор, а затем сразу двинуться вперед. Но впереди, в двух километрах, была небольшая река Сливянка, а на том ее берегу — населенный пункт, совхоз с каменными постройками.

Артемов с телефонистом Перелудовым пере-

пыли на новый командный пункт, и капитан приказал своим пушкам до времени молчать. Немецкие батареи, обеспечивавшие наступление, распахивали землю огнем впереди своих танков, но одновременно они вели огонь и в глубь нашего расположения; подлесок истлевал в огне, прежняя позиция артемовской батареи также была накрыта артиллерией противника.

Разрывы снарядов, опережающие танки, освещали немецкие машины во тьме, и поэтому можно было уже вычислить данные для прицельного огня. Командир стрелкового подразделения, вышедший на правом фланге к берегу Сливянки, попросил у Артемова, чтобы он подавил две пулеметные точки врага в совхозе. Пехота, залетевшая впереди Артемова, не могла вступить в дело и вжималась в землю.

Артемов, чувствуя, что он один сейчас способен и должен остановить и сокрушить на месте рвущегося навстречу врага, в яростной радости командовал Перегудову, и тот повторял его слова в микрофон, на батарею.

Первый танк взорвался, и его охватило пламя, осветившее местность, по которой подходили еще четыре танка.

— Выстрел Силина был, товарищ капитан, — сказал Перегудов.

— Верно, это сработало его второе орудие, — подтвердил Артемов.

Еще два танка противника были остановлены огнем батареи Артемова, бывшей по его приказу валпами, и затем добыты, повторно расстреляны на месте как неподвижные цели; один танк ушел на правый фланг, а упрямивший танки огонь

немецкой артиллерии стал клевать землю неприцельно; тогда Артемов скомандовал, чтоб расчеты отдали пушки на передки и следовали на тяге вперед, под охраной своих лучших пулеметов, до реки Сливянки.

4

Едва достигнув берега Сливянки, Артемов приказал врыть немедленно пушки в землю, в старые траншеи врага, в его обваленную линию обороны; более всего он желал сбереечь расчеты людей и пушечные системы. При вспышках стрельбы он различил и сосчитал противника, низринувшегося с высокого правобережья Сливянки на нашу пехоту, переходившую реку в брод. Двенадцать танков спускались оттуда, из населенного пункта, стреляя с ходу. Наша пехота, устремившаяся поперек потока двумя струями, несла потери. Артемов понял общее положение; он велел открыть всю мощь огня батареи по танкам, чтобы всех их привлечь на себя, на свои четыре пушки, и облегчить пехоте ее штурмовую работу. Стрелковому командиру он посоветовал по телефону изменить его тактику согласно обстановке. Капитан Артемов полагал, что выгоднее будет форсировать речку не узкими колоннами подразделений, сосредоточенными в затылок друг другу, — нужно форсировать реку вдоль ее потока, на большом протяжении: пусть бойцы действуют рассредоточенно, поодиночке, вплавь и в брод, они рассеют тогда внимание противника, и огонь его станет малодейственным.

Далее Артемов не мог уже следить за общим боем. Он сполз в глубокую траншею, где сидел его телефонист Перегудов.

Танки рвели уже в речном потоке и шли в упор на батарею. Артемов обрадовался, что сумел навлечь на себя все машины врага и тем облегчить действия общевойсковой командования на других участках. Наблюдатель сообщил капитану, что пять танков подбиты и остановились в речном русле, но второе орудие батареи повреждено и замерло в бездействии.

Этим орудием командовал Гордей Силин. Старый солдат обиделся на такое неправильное дело; он взял лом из пушечного инвентаря и, выждав танк, шедший давить на смерть его орудие, взобрался на чужую машину и ударил ломом по горячему стволу пулемета в момент его стрельбы; пулемет рванул огнем внутрь машины, и там раздался крик врага; Силин прыгнул с танка и пополз к работавшей здоровой пушке старшины Череватых.

Наблюдатель сообщил капитану Артемову, что всего подбито семь танков, остальные же пять машин достигли расположения батареи и давят пушки гусеницами; сейчас осталась в живых лишь одна пушка Череватых, но огонь из нее ведет Гордей Силин, потому что старшина Череватых убит.

Тяжкое, дышащее жаром, тело танка поползло через траншею, где находились Артемов и Перегудов, и стало неподвижно, сотрясаясь от глухих ударов по броне и проседая вниз, засыпая землей таящихся под ним людей. По танку гвездил из пушки Силин осколочными, не имея, видимо, других снарядов.

Связь еще действовала. Артемов вызвал к аппарату полковника и доложил обстановку.

— Помощи просишь, капитан? — спросил полковник.

— Нет, — указал Артемов. — Мы почти справились с противником... Дайте на этот участок немного ПТР!

— Откуда ты говоришь?

— Со своего пункта, товарищ полковник. Над нами висит машина. Она пойдет сейчас на Силина, на мою последнюю пушку.

— ПТР дать не могу, капитан. К совхозу на подходе с запаса находятся еще пятнадцать танков, из них шесть тяжелых. Там ПТР нужнее.

— У меня одна пушка еще действует, товарищ полковник!

— Пушку береги, капитан, а врага расстривай! Держись, Иван Семенович, а я тебе не забуду помочь!

Танк сполз с траншеи Артемова и ушел. Но другая машина появилась на фланге и пошла вдоль траншеи, обваливая ее откосы, временами приостанавливая свой поступательный ход и вращаясь на месте, чтобы смолотить до костей нашу живую силу. Пушка Силина била осколочными по пехоте врага, и наши солдаты дрались врукопашную в летяной воде Сливянки.

Волшебный свет выстрелов и ракет вспыхивал и сиял в темном ночном мире, прерываясь слепящим мраком.

Танк снова покрыл траншею над головою Артемова и Перегулова и начал вращаться, медленно опускаясь книзу и стреляя из пушки в русскую сторону, содрогаясь корпусом при отдаче орудия. Артемов и Перегулов лежали ниц в обваливающемся на них прахе земли. Артемов кричал в телефон, задыхаясь в мелком крошечке грунта:

— Силин! Силин, нас давит машина, дай по ней...

— Есть! — отвечал издали Силин, и Артемов расслышал, как зазвенела броня танка над ним от удара снаряда.

Но душная, тяжелая смерть уже прессовала над ним грунт, и томилось тело, обреченное на вечное заключение в тесной могиле.

Артемов приказал Силину забыть о нем и вести огонь по пехоте, а сам привлек голову Перегудова к себе, чтоб он не тосковал один.

— Ползи! — приказал Артемов.

Перегудов попробовал двигаться ползком вдоль траншеи, но земля валилась на него из-под мелящих грунт гусениц танка, и двигаться было так же трудно.

5

«А все равно умирать нельзя, и из могилы надо драться!» — решил Артемов. В этом было его удовлетворение и призывание красноармейского офицера.

— Силин! — прокричал он в телефон.

Броня танка зазвенела и сверкнула огнем над ним, и одна гусеница машины на весу прошла над головами Артемове и Перегудова. Теперь в небе над траншеей стала видна высокая грустная звезда.

— Силин! — крикнул в микрофон капитан. — Ты держись там?

— Держусь, товарищ капитан! — ответил Силин.

— Тигры на подходе к реке! — доложил Перегудов капитану. — Четыре машины! И на флангах по пяти машин среднего веса!

— Оставайся здесь! — приказал Артемов. — Я пойду к Силину.

У Силина, кроме него самого, при пушке был один казак Миронов; уцелевшие артиллеристы из других расчетов заняты были на оттяжке поврежденных орудий в тыловое расположение и на подноске снарядов с околицы хутора.

— Все ничего, товарищ капитан, — сказал Силин, — калибр у нас слаб на такие машины.

— Ничего, Силин, — произнес Артемов. — Я похозяйски с ними справлюсь. Гранаты и противотанковые мины у вас есть?

— А то как же! Имеются.

— Ты хлопочи здесь у пушки, только зря не пали, давай огонь не в лоб, а по нежному месту, а я пойду, как они покажутся. Давай, я буду снаряжаться.

Силин не все понял.

— Так как же это будет, товарищ капитан?

Артемов улыбнулся.

— А я к танку прямо под вздох подберусь и выпущу из машины последнее дыхание.

Силин помолчал, но потом обиделся.

— А я что же, товарищ капитан... Я солдат, я к смерти давно привык, почему же меня не посылаете на дело? Чего я тут пустым огнем греметь буду?

— Тебя я хочу сберечь, Гордей Иванович, — ответил Артемов. — Отца, матери и семьи при тебе нету, — кто о тебе позаботится, кроме меня?

Силин отступил на шаг и вытянулся перед командиром.

— Так не бывает, товарищ капитан. Это не по службе-уставу: вам не положено идти на смерть вместо своего солдата!

— На поле боя я для тебя весь устав, — ска-

зал Артемов. — Родной мне положено любить и беречь своего солдата, Гордей Иванович.

Гордей Силин спустился на землю и припал к ней лицом.

С ближних тыловых позиций ударили пушки дивизионной артиллерии. Они били по правому берегу реки, где появились свежие немецкие танки.

Силин поднял лицо от земли и задумался.

— Великое дело! — прошептал он, слушая залпы батарей. — Теперь и капитану не к чему на танки ходить врюжопашную.

Телефонист Перегудов появился возле командира.

— Приказано, товарищ капитан, всем штурмовым подразделениям пехоты и всем ее сопровождающим идти вперед, как только эти танки будут остановлены дивизионным огнем!

Артемов приказал поставить орудие на ходовой порядок, а всем свободным людям батареи следовать с ручными пулеметами и автоматами. Затем он посмотрел на небо, чтобы сообразить по звездам, скоро ли будет рассвет. По звездам выходило, что утро будет скоро, но в позднюю осень и по утрам бывает еще долгая тьма.

ДОМАШНИЙ ОЧАГ

В светлом августе месяце русские поля со сжатым хлебом делаются словно безвоздушными — столь чисто бывает над ними небесное пространство, еще полное сияния лета, но уже стынувшее по утрам.

Когда человек глядит на это небо, в сердце его возникает желание долго жить на земле и будущим годом снова увидеть лето.

Красноармейцу Петру Ивановичу Щербинникову тоже хотелось еще долго жить на свете, хотя он уже прожил тридцать лет. Он уже воевал почти два года, но с ним в одном взводе служил красноармеец Ракитин, — тот воевал уже третий год и участвовал в финской кампании, он был ранен три раза, а Щербинников только два, и поэтому Щербинников думал о Ракитине всегда с уважением: «Ого! — думал Щербинников, — я что! Вот Ракитин служит, ему и сроку больше вышло, и на тело больше, а мои раны были легкие, и они зажили!»

Сейчас Щербинников смотрел из траншеи в утреннее августовское небо.

Ракитин подошел к Щербинникову и спросил у него, сыт ли он и исправно ли у него все снаряжение, а то скоро надо идти в бой; Ракитин сказал еще, что та деревенька, которую

придется взять, уже не Орловской будет, а Брянской области.

— А что такое артиллерии нашей не слышать? — спросил Щербинников. — После артиллерии мягче было бы ходить.

Ракитин сообщил о том, что говорил ему старшина вчерашний день: в той деревне немцев во все мало, туда ходила наша разведка, и она рассмотрела неприятеля; поэтому наша артиллерия едва ли будет тратить огонь по малой цели, где противника можно одолеть штыком, а остаток его забрать в плен. Потом Ракитин поглядел на Щербинникова и сказал ему:

— Усы растишь — думай о них. Что они у тебя лохмотьями висят?

Щербинников оправил свои усы, отросшие с начала войны и выгоревшие на солнце до белого цвета; лицо же его потемнело от жары, от ветра, а волосы на его голове и брови были такого же цвета, что и усы, — созревшей пшеницы.

— Оправься, Петр, сейчас вперед пойдём! — сказал Ракитин. — Обратишь, — тогда к ручью на ночь сходим, надо рубахи постирать...

По команде весь взвод выбрался из траншеи наружу и побежал по пустой местности на русскую деревню, населённую неприятелем. Из деревни противник открыл частый минометный огонь, но красноармейцы, уже обтерпевшиеся в долгих боях, умело одолевали поражаемую огнем землю, то припадая к ней, то снова подвигаясь по ней вперед.

Добравшись до колодезного сруба возле овина, Щербинников залег за ним. Из избы на каменном фундаменте, что находилась справа за овином, упорно, затяжными едкими очередями стрэ-

лял автомат. «Его надо убить, — решил Щербинников про этого стрелявшего врага. — А лучше бы в плен его взять». Он осмотрелся и побежал кружным путем по дикому, с утра уже жаркому бурьяну, согнувшись и чувствуя, как сердце его частым стуком отвечает на свистящее пулями биение автомата. Щербинников с ходу ворвался в избу и напал на стрелявшего через подоконник, не услышавшего его автоматчика. Щербинников ударил неприятеля не до смерти прикладом по голове, и тот сплошал, и огонь его умолк.

Взвод Ракитина и Щербинникова держал до времени оборону в завоеванном пункте.

В деревне теперь стало тихо: бой гремел уже вдалеке, на правом фланге. Ракитин остался на посту, чтобы глядеть вперед на случай чего, а Щербинников лег на землю, где стоял до того, и сразу уснул.

Проснулся он после полудня. Во сне он забыл про войну и непривычно огляделся вокруг, чтобы понять, где он находится.

В деревне остались лишь две избы, а прочие избы погорели и омертвели в золе. Только печной очаг, как основание и корень всякого жилища, почти повсюду стоял уцелевшим, хоть и был обгорелым и порушенным. Однако он служил местом, вокруг которого снова должно собраться хозяйство и утвердиться гнездо человека.

Два немецких танка — «Тигры» и пушка «Фердинанд» хотели пройти напролом через один убогий крестьянский двор. Танки подняли гусеницами плетень, а «Фердинанд» покрыл собою колодец в усадьбе, и тут они были погублены намертво русскими пушками. Но промеж тех подбитых танков осталась русская избыная печь

с закопченным устьем и заглетькой, на которой стоял горшок. И возле уцелевшей печи крестьянка-старуха месила теперь глину голыми ногами, чтобы обмазать свой домашний очаг, а старик-хозяин в тени мертвого «Титра» тесал бревно на постройку.

Щербинников подошел к хозяевам и узнал их судьбу. Позавчерашний день немцы погнали из деревни в Германию оставшихся крестьян. Старуха положила на тележку мешок с картошкой, поршок из печи, последнюю одежду, посадила внука навстречу, и старик повез тележку на двух колесах в Германию, как немцы велели.

— А где ж у вас внук находится? — спросил Щербинников.

— А вон, чумовой, по полю ходит, — сказал старик. — Того гляди на мне впрах разорвется...

Щербинников задумался — у него тоже был мальчик сын: что он делает сейчас в забайкальском селе, как он сыт там, обут и одет и помнит ли об отце или забыл уже его за малолетством?

— А где ж его отец? — спросил Щербинников.

— Да где теперь весь народ, там и он — в Красной Армии, — ответил хозяин. — Он сыном мне приходится, два года слуху нету...

— Объявится еще, — произнес Щербинников. — Теперь все разыщутся — мы немца ко двору его обратно толкаем...

— Может, и объявится, — охотно согласился старик. — И на войне смерти-то на всех не достанется: которые и живыми вернутся... Намедни и мы с семейством думали, когда нам немец-то велел уходить из России, что, стало быть, близка

наша смерть. Где ты без своей избы-то и без России проживешь? Взять хоть и Германию — там наш человек не может: он там от одной думы, от одного своего сердца помрет — сердце-то его здесь привыкло дышать, оно здесь отогревалось. Глянул я в даль, как тележку от своей деревни откатил, и вижу — не там нам быть, нет, не там, и по телу чувствую — нет не время мне еще помирать; сообразил я, снял одно колесо с тележки и закатил его в рожь от греха. Тут немец явился, зашумел на меня, а я ему: «Ты же видишь, что колесо сошло, отыщу, дескать, налажу и тогда помаленьку поеду». А на поле-то гром, пальба. Да мы уж привыкли! Пошли мы со старухой и внуком в рожь — колесо искать, а по ржи вышли в балку, прожили там в невидных местах двое суток, а потом вышел я снова на орловскую дорогу, гляжу — наши русские вперед идут, — я тогда собрал семейство и обратно ко двору вернулся...

— А как же ты жить теперь будешь, хозяин? — произнес Щербинников. — У тебя всего один печной очаг остался...

— Была бы печь, — сказал крестьянин. — С печи изба примется, а с избы все хозяйство возьметя. Пускай только немца не будет.

Мальчик лет семи или восьми подошел к деду и загляделся на Щербинникова. Ребенок был худ и одет в одну рубашонку, но лицо у него было большое и угрюмое, с неподвижными, печальными глазами.

— Иван, ступай глину копай и к бабке неси, — сказал дед внуку.

Иван поглядел на деда.

— Тетка Анюта корову пригнала от немцев ко

двору,— сказал Иван,— а дядя Прошка хлеб пошел косить, он мину скосил, и его огнем убило. Он там один в хлебах лежит, я видел.

— Ступай, глину бабке таскай,— велел ему дед.

Иван пошел работать; Щербинников тоже взял тогда топор у старика и сказал ему:

— Дай-ка я, хозяин, бревно тебе обещу, — от войны отдохну. А ты ступай — волокн мне еще матерьялу...

Щербинников поработал топором не много, потому что его клыкнул Ракитин. Щербинников ушел на пост наблюдения, а Ракитин явился к уцелевшему остатку домашнего очага и стал глядеть на работу крестьянского семейства. Поглядев, он пошел по деревне искать цельные кирпичи, чтобы положить их в порушенную кладку домашнего очага. Ракитин любил кирпичное и каменное огнестойкое дело; до войны он работал мастером в черепичной мастерской.

Щербинников стоял на посту в обороне и осматривал местность вокруг себя.. Согбенная рожь, уже созревшая, стояла на поле. С края хлебного поля начинался кустарник, опускавшийся далее в пологую балку, но кустарник тот уже оголился и почернел: его насмерть обглодал артиллерийский и минометный огонь. Простая же трава, смешанная с цветами, стелилась по всей земле, как ее первоначальный бессмертный покров.

Издали доносились волны артиллерийских залпов, но ближе кротко стучал крестьянский топор, заново творя себе домашний очаг, чтобы опять было родное место у человека и чтобы снова из этого очага, как из малого семени, выросла вся большая русская жизнь.

Щербинников все слушал и слушал этот стук крестьянского топора, и ему становилось покойно на душе. «Хорошо быть крестьянином, — думал Щербинников. — И красноармейцем тоже быть хорошо, — потому что нужно. Без нас, без бойцов, старику бы и внуку его смерть была, а теперь они избу себе кладут. Без красноармейца ничего нельзя: зла на свете много».

Топор старого крестьянина попрежнему терпеливо тесал бревно. Щербинников посмотрел в синее небо и на чистые, светящиеся облака над ним, плывущие далеко, неизвестно куда. И весь мир сейчас показался Щербинникову столь прекрасным, словно он был дотоле ему неизвестным и непривычным, и ему захотелось поплакать немного, пока нет никого. Но он вспомнил, как мать ему говорила когда-то, что если земля покажется человеку слишком хорошей, то такой человек должен скоро умереть.

— Нет, мама, — задумавшись о матери, сказал вслух Щербинников. — Ты жила давно, тебя научили бояться, и, кроме горя, ты боялась всего... Мы присягу давали умереть, когда нужно, если весь свет не будет таким, какой он должен быть для нас, для всех людей...

Мимо Щербинникова прошли две крестьянские женщины; одна несла мешок за плечами со своим добром, другая вела за руки двух девочек — дочерей. Парод шел от врага к своему родному жилищу и к своему хлебу.

— Вы больше не уйдете от нас? — спросила у Щербинникова женщина с двумя девочками.

— Никогда — ответил ей красноармеец.

— Не надо от нас уходить, — попросила крестьянка. — Не сердчайте на нас.

— Мы не серчаем, — сказал Щербинников. — А вы на нас тоже не держите обиды.

Мать-крестьянка, долго глядела на Краснодар-мэйца.

— Ничего, — произнесла она добрым голосом. — Наме горе теперь уж отлегло от сердца.

САМНО

Не пойду, пока живу я
И пока сияет месяц,
В избы мрачные Похьёлы,
В те жилища Сарнолы,
Где героев пожирают,
Где мужей бросают в море.
К а л е в а л а

На реке Пожве в Карелии была деревня Пожва, а в той деревне был колхоз по названию «Добрая жизнь», и всю деревню с колхозом звали Добрая Пожва.

От всей Доброй Пожвы осталось теперь одно водяное колесо, потому что оно было мокрое и не сгорело в пожаре. А все другое добро, издавна нажитое и сбереженное, погорело в огне и сошло в угли, уголь же дотлел сам по себе, искрошился в прах, и его выдул ветер прочь.

По деревне Доброй Пожве немцы и финны били из пушек, ее палили бомбами с неба, и деревянная Добрая Пожва погорела и умерла.

Одно водяное колесо, как и прежде, в мирное время, вращалось на своем деревянном валу и крутило деревянную же шестерню; только цевки этой шестерни теперь не задевали другой шестерни: вся снасть погорела, и то, что эта

снасть крутила на пользу народа, — целое машинное устройство, — тоже сгорело в огне.

Поверх, по жолобу, на колесо, как и прежде, вступала вода, она наполняла ковши и своим весом заставляла колесо кружиться день и ночь, потому что поток воды был живой и он не убывал.

Битва русских и карелов с белофиннами и немецкими фашистами прошла в этом краю и удалась отсюда и не стала более слышна. В наступившей безлюдной тишине водяное колесо в Доброй Пожве тихонько поскрипывало от старости.

Вокруг росли и шевелились обгорелыми ветвями леса, и безмолвно лежала под ними земля, все породившая, но сама неподвижная и неизменная. Однако от этой земли, серой и равнодушной, отвыкнуть было нельзя никому, кто на ней родился. И кузнец, карел Нигарэ, тоже не мог отвыкнуть от привычной земли. Он вернулся в пустую Добрую Пожву, где он когда-то родился и жил всю жизнь до войны.

Нигарэ служил в морской пехоте, снесенной с Ладожской флотилией, рядовым бойцом. Чтобы лучше и привычней было, его в части прозвали «Киреем», и он теперь сам привык к тому, что он есть Кирей. Он вытерпел в боях всю зимнюю кампанию, но недавно его оглушило близким взрывом бомбы и он упал на поле сражения без памяти; опомнившись, он увидел, что остался целым, но говорить стал хуже, он начал заикаться и при звуках музыки или поющего человеческого голоса или от вида цветущих растений он начинал плакать в сердечной тревоге. Тогда его уволили из армии, и Кирей прошел с партизанами через фронт, а здесь, возле родного ме-

ста, отошел от них, чтобы побыть дома, а после опять вернуться к партизанам и помогать им в починке оружия и железных изделий: Кирей с молодых лет был хороший мастер. Кирей понимал, что, куда идет война, даже покалеченный или убогий человек должен быть в деле при войне, потому что другой жизни, кроме войны, нету, пока по земле Карелии ходит мучитель-неприятель.

Кирей обошел тихим шагом всю поголовную Добрую Пожву и сел возле шумящего, одиноко работающего водяного колеса.

Кирей стал грустным. Его осветило вечернее солнце, уже слабое на севере в эту пору позднего лета: на пенке сидел утомленный, постаревший человек в изношенной серой шинели; лицо его стало теперь худым и обросло бородой серого цвета, да и весь зильно исхудал, и глаза его, доброго льняного цвета, спокойно глядели на опустевшую землю, не выражая сейчас ничего, кроме равнодушия. Тело краснофлотца Кирея усохло в боях, отощало в тревоге и в походах, а сердце его, увидев смерть Доброй Пожвы, наполнилось горем.

Кирей не нашел в Доброй Пожве ни одного жителя, и его жена и четверо детей тоже пропали. Теперь осталось тут одно водяное колесо. Возле него — погружившееся в почву мертвое железное тело электрической машины. От этой электрической машины шла проволока по всей Доброй Пожве и далее ее окрест — на ферму, на огород и на лесопилку. Сила воды крутила машину, а от машины рождалось электричество. Электричество давало свет и тепло человеку, оно обогревало скотину и птицу в зимнюю стужу, чтобы

скотина не убывала в теле, а птица давала мясо, перо и яйцо; электричество мололо зерно на мельнице, мяло лен, крутило прялки, давало воду по трубе к середине деревни, разделявало лес на доски, корчевало пни, дробило камень на постройку дорог и грело молоко для питания детей.

Жить было тогда сытно, свободно, работалось легко. Кирей, когда у него родился младший сын, устроил от электричества маленькую машину-самосуйку, чтоб она качала потихоньку колыбель ребенка, а мать не трудилась и дремала возле него. Позже, уже перед войной, председатель колхоза велел Кирею поставить на мельнице вальцы, чтобы молоть из зерна самую мягкую, сладкую муку, потому что стало рождаться много детей, а малолетним мука грубого помола вредна для желудка. Кирей начал было вязать бревенчатый фундамент под вальцевую мельницу, но не управился и ушел на войну, а теперь и следа не стало от его работы.

Кирей вспомнил сейчас, как его жена, кроткая нравом, похожая лицом на ребенка, хоть и сама уже рожавшая детей, читала ему однажды вечером вслух старую карельскую книгу «Калевала»; там было написано про одного мастера Илмаринена, который сделал самомольную мельницу Сампо: она сама молотла зерно, чтобы кормить всех досыта.

— Это неправда, — сказал тогда Кирей своей жене. — Это зря написано в книге. Зачем хлеб даром нужен? Народу без заботы жить нельзя, у него сердце салом покроется и ум станет глупым. Нам такое ни к чему, — у нас лучше есть, чем Сампо, — у нас электричество.

— Оно не такое, оно не даром, — сказала жена, — ж нему старание нужно.

— Потому оно и лучше, что оно не даром, а требует от человека разума, — ответил Кирей. — Нужно, чтобы человек имел развитие, а не жил только для того, чтоб есть и спать.

Что же теперь нужно было делать бедному, больному Кирею, когда вся жизнь в Доброй Пожве, более сильная и разумная, чем написано в сказке, погорела и погибла, как не бывшая никогда, — остались только ветер и пустая земля?

Кирей не знал, что ему нужно теперь делать и как быть. И он стал делать сначала то, что было прежде; пусть будет создано все, что умерло и погорело в Пожве.

Пришелец пошел на место своей избы, потрогал там погорелую землю и решил вновь сложить жилье. Обойдя деревню, он нашел топор без топорнца, увидел бревнышко в лесу и сел стругать перочинным ножом новое топорце... Народ не может умереть до последнего человека, кто-нибудь останется, и старые люди вернутся жить на прежнее место, народятся новые люди, и Добрая Пожва построится разумнее прежнего, и опять электричество станет светить и работать на пользу и счастье. Опять будет хорошо, только убитые и умершие никогда не возвратятся в свои избы.

Сделав топорце к топору, Кирей начал подрубить дерево в лесу. Боль в сердце от горя и воспоминаний мешала ему иногда работать, и тогда он опускал топор и думал, занятый своей печалью.

До самого позднего вечера с усердием тру-

дился Кирей. Он хотел, чтоб опять настало такое время, когда в новой Доброй Пожве электричество будет молотить зерно, освещать тьму, нагнетать воду и крутить самопрялки.

«Мы сделаем так теперь,— соображал в своем уме Кирей,— чтобы в новой Доброй Пожве вышло не одно хлебное зерно, а смалывалось еще в смерть зло жизни».

Кирей решил отстроить пока что одну избу и сделать в ней кузню для починки партизанского оружия. А далее он хотел жить,— жить, чтобы строить всю Добрую Пожву, какой она была, и еще лучше, и сработать все, что он может своими руками. И водяное колесо будет работать, как добрая сила, кормящая живых и размалывающая в прах темное зло, которым заразили было немцы нашу землю.

ТРИ СОЛДАТА

В августовское утро, когда солнце освещает землю словно через опустевший воздух и поля уже золотятся сединой осени, возле фронтовой дороги стоял красноармеец Минаков Иван Ефимович. Правая рука у него была раненая, он держал ее на перевязке. Он без просьбы посмотрел на обгонявшую его попутную машину, и мы пригласили его, чтобы подвезти до госпиталя.

Согнувшись, красноармеец пролез в машину и бросил на пол шинель и вещевой мешок, чтобы его вещи не стеснили офицера.

Красноармеец был молод, лет двадцати пяти—семи на вид, с обычным солдатским лицом, обдутым ветром, юбмытым дождями и высушенным зноем, и с ясными глазами. Должно быть, крепкая душа была у этого бойца, если и ранение и долгая тяжесть войны еще не истомили его.

— Вы который раз ранены — первый? — спросил я у красноармейца.

— Четвертый, — улыбнулся Минаков. — Два осколка от мины во мне живут: один в шее, другой в бедре... А сам я за войну пятерых уложил, да подрапил несколько... Это — ничего!

Он считал свои раны вполне оправданными и свое положение, по сравнению с неприятелем, выгодным.

— В эту руку уж второй раз попадают! — сказал Минаков.

— Срастется? — спросил я.

— Ну, конечно, срастется! — убедительно произнес Минаков. — Место уже битое, оно привыкло заживать... Через месяц опять дома буду — в своей части.

— Когда же вы из боя вышли?

— Да нынче... Уж солнце встало, как мы населенный пункт взяли...

— Какие потери были в вашем подразделении?

— Потерь в людях не было, товарищ капитан... Один я подранен, да еще одного бойца оглушило. А немцев тоже там мало было, мы их хотели перебить, а потом взяли всех в плен живьем. — в языках нужда была.

— Что ж, у вас большой перевес был?

Минаков смутился и застеснялся чего-то.

— Да нет, одним сводным батальоном в атаку пошли... Воевали теперь с расчетом и умыслом, давно ведь уж воюем и делом интересоваться стали, да и к врагу привыкли...

Я понял солдатскую совесть Минакова: ему неудобно было сознаться, что его батальон истощился людьми — и пришлось брать деревню сводным батальоном, с бойцами, сведенными из других подразделений. В этом, однако, не было ничего, что бесчестило бы солдата, потому что та часть, в которой служил Минаков, с пятого июля, с первого часа немецкого наступления, была в боях без выхода. Она приняла на свою прудь, на свое оружие ураганное давление германской армии, измотала на себе силу и обескровила немцев и затем перешла в сокрушающее наступление, уничтожая вросшую в землю оборону противника.

И все же Минаков, видимо, стеснялся того, что его батальон был сводным, а не состоял, как прежде, сплошь из своих, привыкших друг к другу кадровых бойцов.

— Упираются немцы? — спросил я у Минакова.

— Сила у них есть...

— Что ж они не стоят?

— Веры у них не стало. А без веры солдат, как былинка, — он умереть еще может, а одолеть ему неприятеля уже трудно бывает... А что смерть без дела?

— Была же у них вера...

— Была, конечно. А теперь она об нас истерлась... Теперь томиться немцы стали.

Госпиталь помещался в разрушенном поселке. Минаков сказал, чтоб остановили машину, улыбнулся на прощанье и поблагодарил за доставку. А потом, чтоб не задерживать нас, быстро отворил дверцу здоровой рукой, выбросил на землю вещевой мешок, шинель и пошел выздоравливать.

Через несколько дней я посетил тот батальон, в котором служил Минаков. Батальон в то время был отведен на отдых во второй эшелон.

В этом батальоне среди прочих служили два человека: один был старослужащий, сорокалетний старший сержант Прохоров, в начале войны бывший рядовым, а другой был солдат Алеев, родом татарин, пришедший в армию полгода назад. В армии есть скучные, повторяющиеся, но необходимые дела — уход за оружием, содержание в порядке своей одежды и личных вещей, исполнение нарядов по охране и обслуживанию общевойскового добра и прочее. И сержант и рядовой боец выполняли эту работу, однако, с удовольствием, с тихим рачительным усердием...

Я подумал, что они — люди обыденной мирной жизни и сражаются, должно быть, худо.

Это наблюдение и привлекло меня к ним. Рябой и сосредоточенный Прохоров, как я слышал, к тому же был и скупой человек, и скупость его имела уже как бы неразумное значение. Он мог, склонившись на дороге, поднять комок земли и кинуть его на поле, — чтоб и этот комок тоже мог рожать зерно, а не растаптываться без пользы в прах ногами. Поверх головок своих сапог он обувал лалти, чтобы сапоги не снашивались столь скоро и народ как можно дольше не беднел от войны, обувая своих солдат в дорогую кожу. Позже я увидел, что ошибся, и понял, что скупость ко всем предметам, составляющим достояние родины, есть постоянное скромное выражение страстной любви к ней.

Аккуратно исполнительный, Алеев любил чистить и смазывать винтовки и автоматы, и он мог даже производить им небольшой полевой ремонт. До войны Алеев работал в машино-тракторной мастерской по плужному делу и прицепному инвентарю.

Я спросил у Алеева, что его интересует в жизни.

— Хлебопашество, — сказал Алеев. — Я хлеб в поле любил.

— А война? На войне хлеб не сеют..

— Война против фашистов — такое же святое дело, как хлебопашество, — ответил Алеев. — Зачем будет хлеб, когда народ от немца помрет? Кто будет кушать?

Я не понял Алеева.

— На войне и погибают люди. Может, и ты и я погибнем..

— Может, — согласился Алеев. — Зато в тылу народ целым останется. Ты считай сам, я убью десять немцев, а они убили бы тысячу нашего народа, если б жить стали и по нашей земле пошли. Ты считай, сколько я людей уберегу! А сам помру — не жалко, от меня польза останется. Опять хлебопашество будет, народ рожаться будет, — лучше меня будут люди.

И с терпеливым усердием Алеев склонился над своей работой: он сейчас ремонтировал расстроенный, изработавшийся автомат, причем работал он с тем же удовольствием, с каким в былое время настраивал плужную систему для трактора.

Через два дня батальон, отдышавшись в ближнем тылу, был перемещен в первый эшелон и вступил в дело.

Прохоров, Алеев и младший лейтенант Сухих назначены были идти в ближнюю разведку. Им дали задачу — разведать дорогу в дебрях минных полей на подходах к укрепленному рубежу противника. Нужно было пройти небольшое расстояние, однако пройти его следовало ночью, наощупь, пересчитав и высмотрев каждую былинку.

Но в ту же ночь немцы, предчувствуя наш удар, открыли огонь по нашей стороне, а затем пустили свои танки в атаку. Машины врага были встречены нашим пушечным и бронебойным огнем. Сухих, Прохоров и Алеев остались одни, как сироты, в промежуточном поле, накрываемом нашим огнем. Кроме отсветов от разрывов, поле осветилось ракетами, посланными сюда нашими войсками. Сухих, Прохоров и Алеев вжались в землю, но это их положение было малополезным для боя и не обещало им самим надежного спа-

сения. Алеев, полежав немного, сказал на ухо младшему лейтенанту Сухих:

— Так лежать — я буду изменник, давай воевать...:

— Сейчас, — ответил Сухих; он следил, как, маневрируя среди собственного минного поля, проходят немецкие танки, и старался запомнить безопасные проходы.

Под светом ракеты Алеев ясно увидел заблестевшие взрыватели трех противотанковых мин.

— Прохоров, — сказал Алеев, — товарищ сержант... Бояться будем, умрем нехорошо...

Два танка с тяжкой стремительностью прошли мимо троих наших солдат.

— Нам чужого добра не жалко! — крикнул Прохоров.

Он подполз к одной мине и стал отрывать ее. Алеев догадался, в чем был смысл работы Прохорова, и подполз к соседней мине. Отрывши ее, он сказал Прохорову, чтобы сержант положил обе мины — свою и его — ему на спину, а он повезет, ползя на животе, куда нужно. Прохоров погрузил мины на Алеева и пополз с ним рядом, следя, чтобы груз лежал в покое...

С немецкого рубежа вышла новая группа танков; теперь уже оттуда шло много машин, и за ними должна быть пехота.

— Уходи! — сказал Алеев Прохорову. — А я мало побуду здесь.

Они выбрались на чистый проход, по которому до того прошли танки.

Алеев лежал ничком с минами на спине, задумав сгрузить с себя мины, когда первый же танк подойдет поближе и ясно станет его направление.

— Нет! — крикнул Прохоров. — Риск — не расчет! Ты нам тоже не дешевый — живи!.. Сображай за мной!

К ним подполз Сухих.

— Сгружайте мины здесь! — приказал офицер. — Потом — давай сразу в сторону!

Сгрузив мины на грунт, все трое отползли подалее.

Они увидели, как засветился во мгноvenном взрыве немецкий танк и даже приподнялся немного над землей, точно хотел взлететь; затем добавочно сверкнул из отверстий корпуса внутренний взрыв, и весь танк изувечился.

Сухих вскочил и крикнул:

— Давай за мной вперед на врага!

Все трое залезли в развалину танка, где все-таки было безопасней, чем в чистом поле. Прохоров сейчас же озаботился, чтобы не было у них за броней ничего постороннего и ненужного: он высадил наружу через отверстие люка трупы танкистов, а затем хотел спустить от греха горючее из бака, но бак был уже сплюснен и пуст.

Освоившись и разобравшись немного в стальной теснине корпуса, сжатого увечьем, трое людей опять стали слышать битву.

Танки неприятеля прошли мимо них по полю, озаренному светом ракет, и за ними мчалась пехота, припадая к земле от света и разрывов и снова стремясь вперед.

— Ссечь их! — крикнул младший лейтенант Сухих и ударил из автомата по пехотинцам, бегущим вслед машинам.

Прохоров и Алеев также пустили в дело свои автоматы, и ближние немцы стали припадать к охлажденной земле, уже орошенной ночной росой.

— Живее бей! — ускорял огонь Сухих. — Спускай им душу в дырку через сердце.

Прохоров и Алеев, сосредоточившись в работе, чувствовали себя спокойно. Немцы, умирая возле своего мертвого танка, не успевали понять источника своей гибели.

Сухих стрелял непрерывно: он мало верил, что удастся дожить до рассвета, и не хотел, чтобы бесполезно остался при нем боезапас.

Постепенно бой ушел за танками в сторону, и тогда трое русских солдат опомнились и передохнули.

— Ничего, — сказал Сухих.

— Ничего, — согласились с ним Прохоров и Алеев.

На них тихо, без стрельбы, надвинулся из тьмы немецкий танк и остановился у буксирного крюка подбитой машины.

— За своим добром приехали, — сказал Прохоров. — Это правильно.

Крышка люка прибывшего танка открылась, и из машины вылезли два немца.

Алеев хотел посечь немцев огнем, но Сухих не велел ему.

— У них пушка в машине и пушкарь внутри сидит, — сказал офицер. — Нам толку не будет.

Сцепив танки тросами, немцы подобрали трупы своих танкистов и положили их на броню здорового танка-тягача. Потом они вернулись и полезли через люк внутрь увечной машины, но здесь они остались молчать замертво в руках советских солдат.

Сцепленный танк-тягач теперь стоял близко, и пушка его была не опасна на такой дистанции. Живые немцы в здоровом танке обождали немного своих товарищей, а затем потянули больной

танк в свою сторону. Пройдя небольшое расстояние, танк-тягач остановился, потому что трупы свалились с его брони на землю. Теперь ракет уже давно не было в небе и было темно, но советские солдаты прищурившись глазами ко мраку и чутко следили, что будет далее впереди них. Двое немцев показались сверху из тягача и прыгнули вниз. Они вновь подняли своих мертвых с земли и положили их обратно на машину, — как было. Затем один из них, недовольно бормоча, пошел к больному танку.

— Кенчай! — сказал Сухих; он сам дал краткую очередь, и враги пали мертвыми.

Прохоров и Алеев бросились к здоровому танку и забрались в него.

Но гром боя опять стал возвращаться сюда, на прежнее место. Наши части контр-атаковали неприятеля и повернули его обратно, откуда он вышел. Немецкая колонна танков шла теперь назад, расстрошенная, словно щербатая: из нее выбили много машин, и они омертвели на поле сражения. Прохоров и Алеев, равно и Сухих, остерегаясь огня, остались сидеть за броней немецких танков, полагая, что красноармейцы разглядят, в чем тут дело, и не станут тратить прицельного огня по умолкшим машинам. Сухих сидел один с двумя мертвыми немцами, а Прохоров и Алеев были вдвоем в здоровой машине.

На рассвете в здоровый немецкий танк влез для проверки механизма советский танкист и, дав мотору обороты, повел всю сцепленную систему в русскую сторону.

На русской стороне мы вновь встретились с Прохоровым, Алеевым и офицером Сухих. Алеев явился в штаб части с ребенком на руках, цыганским мальчиком лет восьми на вид. А Прохоров

тоже был не пустой: он принес мешочек семян многолетнего клевера.

Цыганского мальчика они обнаружили внутри немецкого танка. Напуганный ребенок не мог объяснить, зачем его взяли в машину, а немцы, что были с ним, все теперь умерли, и спросить было не у кого. Может быть, немцы возили ребенка с собой как амулет, как заклятие против своей смерти. А может быть, тут был расчет: дескать, когда погибнем мы, погибнешь и ты, маленький грустный зверюшко, и нам легче оттого, что и тебя после нас не будет на свете. Для человека смерть красна на миру, потому что мир по нем тоскует; для немца смерть красна, когда и мир или хоть малая живая доля его погибает вместе с ним.

Прохорсов нашел мешочек с семенами внутри танка, в вещевом ящике, и решил взять его на родину в хозяйство, потому что поля войны зарастают жестким бурьяном, с листьями, как железная стружка, несъедобными для скотины, а в мешке все же были семена сладкого клевера.

Оухих отобрал цыганского мальчика от Алеева к себе на руки, осмотрел и освидетельствовал подробно тело ребенка — все ли оно было цело и невредимо после сражения — и сказал красноармейцу:

— Это хороший мальчуган: он весь теплый и живой!

БОЙ В ГРОЗУ

С утра с нашей стороны начался артиллерийский огонь, который должен подготовить удар танков и пехоты на прорыв, на сокрушение неприятельской обороны. Били пушки всех калибров, били гвардейские минометы, но в чередовании их огня был свой план и композиция,— простой, однако, план битвы: прицельное, полное, поголовное уничтожение живой силы противника, его противодействующего оружия всех видов, его укреплений. Этот план боя не был неприкосновенным начертанием на бумаге: полководцы были здесь же, в сфере боя, и они, в зависимости от противодействия и маневров противника, корректировали битву, варьировали всю музыку сражения.

Мы находимся на опушке леса. Далее простирается обнаженное степное пространство, сложенное, как почти вся средняя Россия, из увалов, похожих на замедленные, остановившиеся волны земли. На военном языке вершины этих увалов называются высотками. От века безымянные, они получили теперь номера, а иногда и образное имя. Например, одна высота имела таинственное название: «Расторопные капли». Оказывается, ее защищали пьяные немцы, напившись «расторопных капель», но окрестил высоту, конечно, трезвый русский солдат.

Отсюда, с опушки леса, хорошо обозревается все поле боя. Позади нас, в ожидании сигнала, расположилась танковая бригада, изготовленная к атаке. Но сейчас пока что разыгрывается лишь артиллерийская увертюра к сражению. Здесь, в этом направлении, должен быть нанесен главный удар по дрогнувшему противнику.

Тысячи наших пушек ведут огневую работу. За чертою противоположащих высоток, где проходят немецкие рубежи, ясное утро превращается в черную удушливую ночь, и тьма застилает горизонт и подымается к зениту, просвечиваемая лишь мгновениями разрывов. Со скоростью молний ведется титанический обвальный пушечный труд, обдирающий землю до глубокой белизны ее каменистых, материковых пород, до самых твердых костей ее тела. Сначала можно было различить отдельные выбросы земли, похожие на вскрики, обращенные к небу,— и нам даже казалось, что можно, помимо пушек, слышать этот голос гибнущей земли, но теперь лишь все более сгущающаяся и подымающаяся к небу тьма на стороне противника обозначала нарастающую энергию нашей артиллерии.

Майор-танкист, наблюдающий возле нас работу артиллерии, говорит, что такого огня он ни разу не видел, хотя и воюет уже третий год.

Действительно, временами казалось, что больше уже нельзя увеличить мощность огня,— сами люди, ведущие этот огонь, не выдержат его напряжения, и сердце их не сможет долго превозмогать страшное впечатление от их же работы или сдадут, откажут от перегрузки пушечные механизмы. И все же огонь возрастал; земной прах, дерево, металл и живые существа на сто-

Боем врага молотились в куски, потом повторно перемалывались на мелочь и еще раз накрывались огнем — для обеспечения полного сокрушения. И поверх всех голосов пушек вдруг раздался нежный и протяжный голос гвардейских минометов; минут за десять до того они прошли мимо нас на позицию.

— Катюша! — сказал капитан-танкист. — Работай, дочка, немцы тебя не любят.

Молча и тяжело стояли танки позади нас, еще холодные и безмолвные, но полные снарядами, залитые горючим, с экипажами, неотлучно дежурящими подле машин. Вершины деревьев над ними изредка поводились жарким ветром, и душно и тягостно было человеческим сердцам, и, казалось, даже машинам тягостно это терпение перед боем и скапливающейся в небе грозой.

Немцы изредка пускали из своего мрака блестящие ракеты, ведя разговор со своим тылом. Они еще хотели устоять и выжить.

Из кустарника поодаль от нас вышла группа танков и устремилась вперед под обгоняющими их снарядами нашей артиллерии. По сторонам, с полем, поднялась пехота, она прижалась к танкам, как к материнским защитным телам, и скрылась из виду вослед им.

В точно положенное время пушки стали безмолвными, и лишь дальнобойные калибры издавали редкое, предупреждающее врага, бормотание. Но небо уже населили тяжело нагруженные бомбами эскадрильи наших самолетов, окруженные легюкрылыми, резвящимися истребителями.

Наши самолеты шли в дымном тумане неба, словно периной, все более тесно и туго укрывающем душную томящуюся землю, и люди

внизу, готовые к бою и движению, привыкшие к жаре и морозу, мучились сейчас от пота и того пустого времени, которое перед боем бывает нечем заполнить. Однако танкисты, ожидающие сигнала к выходу, нашли себе занятие. Экипажи, не отдаляясь от своих машин, ходили в гости в соседние экипажи, и люди тихо беседовали друг с другом, внимательно, словно на долгую память, рассматривая один другого глазами, полными дружелюбия. Вот пришел большого роста человек в синем комбинезоне, с умным, рабочим, спокойным лицом; приветливо и серьезно он наблюдает своих друзей и больше слушает их, чем говорит сам, зная, видимо, что человеку иногда бывает легче от слов, чем от молчания. Это знаменитый мастер войны, гвардии майор — Герой Советского Союза Корольков.

На скате высоты, обращенном в нашу сторону, появились черные взрывы земли. Немцы били на скат без повреждения: немецкий огонь был слишком редок, огневые точки врага погасила, изуродовав батареи, наша артиллерия.

Навстречу нашей авиации вышли только несколько истребителей противника. К вечеру этого дня мы подсчитали, что наша авиация на том направлении, которое мы наблюдали, имела многократный перевес.

Наша артиллерия снова усилила свой огонь, работая на дальнейшее опережение наших действующих атакующих сил. Наш «бог войны» неустанно стерег поле битвы и обеспечивал в нем свой порядок против беспорядка, вносимого врагом, — беспорядка, заключающегося в самом наличии неприятеля на здешней земле.

Большие силы танков все еще не были введены

в бой. Мы пошли к их людям, и нам удалось встретиться с гвардии старшиной Иваном Семеновичем Трофимовым, командиром танка, человеком, которому прочат великое будущее, как сокрушителя немецких бронированных машин.

Ивану Семеновичу Трофимову двадцать пять лет от роду, до войны он жил и работал в Москве электриком, он человек русского рабочего класса. На войне он участвует с начала ее, теперь он пвардеец, участник обороны Сталинграда и кавалер трех боевых орденов.

Товарищ Трофимов рассказал нам об одном бое, который он вел на днях с противником. Выйдя с машиной в заданном направлении, Трофимов увидел двенадцать танков врага; неприятельские машины вели огонь с ходу по нашей пехоте и жали ее к земле. Трофимов обождал немного за естественным укрытием, сбросом земли, и в лоб противника не пошел. Немцы стали обходить Трофимова слева, во фланг, потом они взобрались на малую сопку, ища там выгодной позиции; тогда Трофимов измерил расстояние до ближнего немецкого «Т-IV»: оказалось — 1400 метров. Трофимов приказал заряжающему ударить по немцу осколочным бронебойным. Немецкий танк в ответ на первый же выстрел машины Трофимова загорелся. Тем же прицелом Трофимов зажег второй «Т-IV», погасив его жизнь навсегда. Однако врагов еще было много: десять на одного. Трофимов знал, что мощь сокрушения — двойная мощь, если она действует мгновенно. Не сводя огня, он третьим выстрелом — прямым попаданием — подбивает третий немецкий танк, и тот замирает на месте, искалеченный. У немцев оставалось еще девять машин, и все они были цели.

Мы и здоровыми, броня их еще не была пробита, но дух и решимость их экипажей были уже сокрушены: девять машин развернулись и ушли в ту сторону, откуда они явились.

Чего же сейчас хотелось товарищу Трофимову? Не знаем. Может быть, ему хотелось увидеть освещенную, ликующую, мирную Москву и пройти со всеми орденами и медалями на груди по ее главной светлой улице. Это естественное и счастливое желание молодого и героического человека. Не прочтешь в ясном, скромном взоре этого человека интересующую нас тайну его боевого искусства. Но из его же скупых прозаических слов, из внимания к деталям его боевой работы нам делается более ясным его мастерство. Оно, столь простое для понимания и столь трудное для практического осуществления, заключается в сохранении расчетливого, спокойно действующего здравого смысла в то время, когда ты сидишь в горячей стальной коробке, где ты можешь сгореть, как в аду, в то время, когда в твоём теле непроизвольно зарождаются и начинают действовать инстинкты, стремящиеся лишь защитить тебя от возможной гибели и заглушающие рассудок солдата, у которого первая цель — сокрушение врага, а не спасение самого себя. Боевое мастерство Трофимова, как мы поняли, и состоит в сохранении главенства своего здравого смысла над всеми прочими чувствами и инстинктами человека среди угрозы гибели, в разумении, что исполнение боевого задания тем проще и опасность тем менее, чем больше действуют умелые руки и расчетливый разум солдата.

Есть, вероятно, и другие способы или «тайны» боевого искусства: дело зависит от индивидуаль-

ности, от опыта, от рода оружия и от многих других причин и обстоятельств.

Во второй половине дня поднялась внезапная буря, подувшая нашим войскам в лоб. Со степи летели сорванные травы, прах почвы и гарь залпов и взрывов; но и сквозь сумрак бури и на встречу ей шли танки и били пушки: буря не должна задерживать наступления.

Буря обратилась в грозу. Вертикальные молнии ужалили землю вблизи передовой и ослепили на мгновение артиллеристов; но они, поглощенные своим делом, лишь внесли поправки в стрельбе на бурю и грозу. Начавшийся дождь, сразу перешедший в ливень, не укротил однако грозы. Природа встревожилась до ярости, и теперь она метала молнии сверху вниз и параллельно земле, словно ища себе исхода и не находя его. Канонаду нашей артиллерии умножало небо громом грозы, и общее их грохотанье повторялось откликами волнообразной равнины и уходило дальними, смягченными голосами в глубь нашей родины. Свет молний и тупежного огня, скрежещущий и раскатывающийся рев канонады и грома. И мрак ливня, озаряемый лишь магическими вспышками человеческой и небесной ярости, создавали впечатление, что за гранью нашей победы нас ожидает волшебная судьба, возвышенная и мощная в материальной силе.

Поток артиллерийского огня рассекал кипящий ливень и стремился вперед на все более дальнейшее опережение мчащихся танков, за которыми увлекалась наша пехота, тонущая в размытой земле. Наши солдаты двигались в ливне, но тело их было в поту от тяжелого труда.

Очередная молния ударила с неба, но она не

сразу вошла в землю, а прошла несколько вперед, замедлившись в пространстве, точно не находя себе нужного краткого пути, и затем, разделившись на четыре ветви, впиалась ими в скат высоты, издав гром, похожий на долгий вопль. Эта молния своим задержанным светом озарила все поле сражения и наши действующие на нем стремительные войска. Сам наступательный бой — мчащийся вперед поток огня, машин и людей — походил на замедленную, и потому долго видимую, молнию, еще более яростную и мощную от своего замедления, умерщвляющую врага своим пламенем.

И на этой неторопливой последней молнии гроза умолкла.

ДЕВУШКА РОЗА

В рославльской тюрьме, сожженной немцами вместе с узниками, на стенах казематов еще можно прочитать краткие надписи погибших людей. «17 августа день именин. Сижу в одиночку, голодный, 200 граммов хлеба и 1 литр баланды, вот тебе и пир богатый. 1927 года рождения. Семенов». Другой узник добавил к этому еще одно слово, обозначившее судьбу Семенова: «Расстрелян». В соседнем каземате заключенный обращался к своей матери:

Не плачь, моя милая мама.
Не плачь, не рыдай, не грусти.
Одна ты пробудешь недолго
На этом ужасном пути...
Сижу за решеткой в темнице сырой,
И только лишь бог один знает —
К тебе мои мысли несутся волной,
И сердце слезой заливаает.

Он не подписал своего имени. Оно ему было уже не нужно, потому что он терял жизнь и уходил от нас в вечное забвение.

В углу того же каземата была надпись, начертанная, должно быть, ногтем: «Здесь сидел Злов». Это была самая краткая и скромная повесть человека: жил на свете и томился некий

Злов, потом его расстреляли на хозяйственном дворе в рославльской тюрьме, облили труп бензином и сожгли, чтобы ничего не осталось от человека, кроме горсти известкового пепла от его костей, который бесследно смешается с землей и исчезнет в безыменном почвенном прахе.

Возле надписи Злова были начертаны слова неизвестной Розы: «Мне хочется остаться жить. Жизнь — это рай, а жить нельзя, я умру! Я Роза».

Она — Роза. Имя ее было написано острием булавки или ногтем на темносиней краске стены; от сырости и старости в окраске появились очертания таинственных стран и морей — туманных стран свободы, в которые проникали отсюда своим воображением узники, всматриваясь в сумрак тюремной стены.

Кто же была эта узница Роза и где она теперь — здесь ли, на хозяйственном дворе тюрьмы, упала она без дыхания или судьба вновь ее благословила жить на свободе русской земли и опять она с нами — в раю жизни, как говорила о жизни сама Роза? И кто такой был Злов? Он ничего не сказал о себе и лишь отметил на тюремной стене, что жил такой на свете человек.

Следов существования Злова мы найти не сумели, но Роза и среди мучеников оказалась мученицей, поэтому судьба ее осталась в памяти у немногих спасшихся от гибели людей. Узники, которых выводили на двор для расстрела, утешали себя воспоминанием о Розе: она уже была однажды на расстреле, и после расстрела она пала на землю, но осталась живой; поверх ее тела положили трупы других павших людей, потом обложили мертвых соломой, облили бензином

и предали умерших сожжению; Роза не была тогда мертва, две пули лишь не опасно повредили кожу на ее теле, и она, укрытая сверху мертвыми, не согрела в огне, она убереглась и опамятовалась, а в сумрачное время ночи выбралась из-под мертвых и ушла на волю через развалины тюремной ограды, обрушенные авиабомбой. Но днем Розу опять взяли в городе немцы и отвели в тюрьму. И она опять стала жить в заключении, вторично ожидая свою смерть.

Кто видел Розу, тот говорил, что она была красива собою и настолько хороша, словно ее нарочно выдумали тоскующие, грустные люди себе на радость и утешение. У Розы были тонкие вьющиеся волосы темного цвета и большие младенческие серые глаза, освещенные изнутри доверчивой душой, а лицо у нее было милое, пухлое от тюрьмы и голода, но нежное и чистое. Сама же вся Роза была небольшая, однако крепкая, как мальчик, и умелая на руку; она могла шить платья и раньше работала электромонтером; только делать ей теперь нечего было, кроме как терпеть свою беду; ей сравнялось девятнадцать лет, и на вид она не казалась старше, потому что умела одолевать свое горе и не давала ему старить и калечить себя, — она хотела жить.

Второй раз ждала Роза своей смерти в рославльской тюрьме, но не дождалась ее: немцы помиловали Розу. Немцы поняли, что если убить человека один раз, то более с ним нечего делать, и властвовать над ним уже нельзя; без господства же немцу жить неинтересно и невыгодно, ему нужно, чтоб человек существовал при нем, но существовал вполжизни, — чтоб ум у человека стал глупостью, а сердце билось не от радости, а от

робости — из боязни умереть, когда велено жить.

Розу вызвали на допрос к следователю. Следователь был уверен, что она все знает о городе Рославле и о русской жизни, словно Роза была всею советской властью. Роза всего не знала, а что знала, про то сказать не могла. Она пила у следователя мюнхенское пиво, ела подкопренные сосиски и надевала новое платье. Так называл свое угощение следователь, обращаясь к своим подручным, которых заключенные называли «мастерами того света». Для Розы приносили пивную бутылку, наполщенную песком, и били ее этой бутылкой по груди и по животу, чтобы в ней замерло навсегда ее будущее материнство; потом Розу стегали гибкими железными прутьями, обжигаящими тело до костей, и когда у нее заходило дыхание, а сознание уже дремало, тогда Розу «одевали в новое платье»: ее туго пеленали жестким черным электрическим проводом, утопив его в мышцы и меж ребер, так что кровь и прохладная предсмертная влага выступали наружу из тела узницы; потом Розу уносили обратно в одиночку и там оставляли на цементном полу; она всех утомляла, — и следователя, и «мастеров того света».

Что же нужно было немцам делать дальше? Живая русская девчонка им не подчинялась; можно было бы ее мгновенно убить, но владеть мертвецами было бессмысленно.

Своею жизнью, равно и смертью, эта русская Роза подвергала сомнению и критике весь смысл войны, власти, господства и «новой организации» человечества. Такое волшебство не может быть терпимо — разве бесцельно и напрасно легли в землю германские солдаты?

Немецкий военный следователь задумался в рославльской тюрьме. Над кем разрешено будет властвовать, когда германский народ останется жить в одиночестве на большом кладбище всех прочих народов?

Следователь утратил свое доброе деловое настроение и позвал к себе «скорого Ганса», прозванного скорым за мгновенную исполнительность. Иоганн Фохт прежде долго жил в Советском Союзе, он хорошо знал русский язык. Следователь велел «скорому Гансу» принести сначала водки, а затем спросил у него — как надо организовать человека, чтоб он не яснил, но и не умер.

— Пустыяк дело! — сразу понял и ответил Ганс.

Следователь выпил, настроение его стало легким, и он велел Гансу сходить к Розе в камеру и проверить, — жива она или умерла.

Ганс сходил и вернулся. Он доложил, что Роза дышит, спит и во сне улыбается, и добавил свое мнение:

— А смеяться ей не полагается!..

Следователь согласился, что смеяться Розе не полагается, жить ей тоже не надо, но убивать ее также вредно, потому что будет убыток в живой рабочей силе и мало будет назидания для остального населения. Следователь считал, что нужно бы из Розы сделать постоянный живой пример для устрашения населения, образец ужасной муки для всех непокорных; мертвые же не могут нести такой полезной службы, они вызывают лишь сочувствие живых и склоняют их к бесстрашию.

— Полжизни ей надо дать! — сказал «скорый Ганс». — Я из нее полудурку сделаю..

— Это что: полудурья? — спросил следователь.

— Это я ее по темени, — показал себе на голову Ганс, — я ее по материнскому родничку надавлю рукой, а в руку возьму предмет по потребности.

— Роза скончает жизнь, — сказал следователь.

— Отдышитесь, — убедительно произнес «скорый Ганс», — я ее умелой рукой, я ее до смерти не допущу...

«Он будет фюрер малого масштаба», — подумал следователь о Гансе и велел ему действовать.

Наутро Розу выпустили из тюрьмы. Она вышла оттуда в нищем платье, обветшалом еще от первых давних побоев, и босая, потому что баллаки ее пропали в тюремной кладовой. Была уже осень, но Роза не чувствовала осенней прохладной поры; она шла по Рославлю с блаженной робкой улыбкой на прекрасном открытом лице. Но взор ее был смутный и равнодушный, и глаза ее сонно глядели на свет. Роза видела теперь все правильно, как и прежде, — она видела землю, дома и людей; только она не понимала, что это означает, и сердце ее было сдавлено неподвижным страхом перед каждым явлением.

Иногда Роза чувствовала, что она видит долгий сон, и в слабом, неуверенном воспоминании представляла другой мир, где все было ей понятно и не страшно. А сейчас она из боязни улыбалась всем людям и предметам, томимая своим онемевшим рассудком. Ей захотелось проснуться, она сделала резкое движение, она лобезжала, но сновидение шло вместе с нею и остывший разум ее не пробудился.

Роза вошла в чужой дом. Там была в горнице старая женщина, молившаяся на икону боготери.

— А где Роза? — спросила Роза; она смутно желала увидеть самое себя живой и здоровой, не помня теперь, кто она сама.

— Какая тут тебе Роза? — сердито сказала старая хозяйка.

— Она Роза была, — с беспомощной кротостью произнесла Роза.

Старуха поглядела на гостью.

— Была, а теперь, стало быть, нету... У немцев спроси твою Розу — там всему народу счет ведут, чтоб меньше его было.

— Ты сердитая, злая старуха! — здраво сказала Роза. — Роза живая была, а потом она в поле ушла и скоро уж вернется...

Старуха всмотрелась в нищую гостью и попросила ее:

— А ну сядь, посиди со мной, дочка.

Роза покорно осталась; старуха подошла к ней и опробовала одежду на Розе.

— Эх ты, побирושка! — сказала она и заплакала, имея свое, другое горе, а Роза ей только напомнила о нем.

Старуха раздела Розу, отмыла ее от тюремной грязи и перевязала раны, а потом обрядила ее, как невесту, в свое старое девичье платье, обула ее в прюнелевые башмаки и накормила чем могла.

Роза ничему не обрадовалась и к вечеру ушла из дома доброй старухи. Она пошла к выходу из города Рославля, но не могла найти ему конца и без рассудка ходила по улицам.

Ночью патруль отвел Розу в комендатуру. В комендатуре осведомились о Розе и наутро освободили ее, сняв с нее красивое платье и прюнелевые башмаки; взамен же ей дали надеть ве-

тошь, что была на одной арестованной. Дознаться, кто одел и обул Розу, в комендатуре не могли,— Роза была безответна.

На следующую ночь Розу опять привели в комендатуру. Теперь она была в пальто, с теплым платком на голове и посвежела лицом от воздуха и питания. В городе явно баловали и любили Розу оставшиеся люди, как героическую истину, привлекающую к себе все обездоленные, павшие надеждой сердца.

Сама Роза об этом ничего не ведала, она хотела лишь уйти из города в даль, в голубое небо, начинавшееся, как она видела, недалеко за городом. Там было чисто и просторно, там далеко видно, и та Роза, которую она с трудом и тоскою вспоминала, та Роза ходит в том краю, там она догонит ее, возьмет ее за руку, и та Роза уведет ее отсюда туда, где она была прежде, где у нее никогда не болела голова и не томилось сердце в разлуке с теми, кто есть на свете, но кого она сейчас забыла и не может узнать.

Роза просила прохожих увести ее в поле, она не помнила туда дорогу; но прохожие в ответ вели ее к себе, угощали, успокаивали и укладывали отдыхать. Роза слушалась всех, она исполняла просьбу каждого человека, а потом опять просила, чтоб ее проводили за руку в чистое поле, где просторно и далеко видно, как на небе.

Один маленький мальчик послушался Розы; он взял ее за руку и вывел в поле на шоссеиную дорогу. Далее Роза пошла одна. Дойдя до контрольного поста на дороге, где стояли двое немецких часовых, Роза остановилась возле них.

— Скорый Галис, ты опять меня убьешь? — спросила Роза.

— Полудурка! — по-русски сказал один немец, а другой ударил ложком автомата Розу по спине.

Тогда Роза побежала от них прочь; она побежала в поле, заросшее бурьяном, и бежала долго. Немцы смотрели ей вслед и удивлялись, что так далеко ушла от них и все еще жива полудурка — там был заминированный плацдарм. Потом они увидели мгновенное сияние.

СОДЕРЖАНИЕ

В сторону заката солнца	3
Мать	16
Никодим Максимов	21
Добрая корова	33
Офицер и солдат	46
Домашний очаг	59
Сампо	67
Три солдата	73
Бой в грозу	83
Девушка Роза	91

Редактор А. Митрофанов

Художник И. Николаевцев

A14741. Подписана к печати 14/III 1945 г. Печ. л. 3¹/₆. Авт. л. 3,53
Уч.-изд. л. 3,71 Тираж 15000. Заказ 1461 Цена 2 руб. 50 коп.

Типография „Красный печатник“ Москва, 25 Октября, 5